

# Часть третья. Коммуна

## I. 18 марта

Орель-де-Паладин[83] командовал национальной гвардией Парижа, которая не желала ему повиноваться и выбрала своим вождем Гарибальди[84].

Двадцать восьмого января Брюнель[85] и Пиацца[86] были также избраны командирами; военный суд приговорил их к двум годам тюрьмы, но в ночь с 26 на 27 января они были освобождены.

Правительству больше не повиновались: когда оно послало артиллеристов на площадь Вогезов за пушками, им отказались выдать последние, и они не посмели настаивать; пушки были увезены на Шомонские высоты.

Газеты, которые реакция обвиняла в сговоре с неприятелем: «Мститель» – Феликса Пиа, «Крик народа» – Вал-леса, «Мо-д’ордр» – Рошфора (основанная на следующий день после перемирия), «Пер-Дюшен», издававшийся Вермешем, Эмбером, Марото и Вильомом, «Железные уста» – Вермореля[87], «Федерация» – Одисса Баро и «Карикатура» – Пилотеля, все они были запрещены начиная с 12 марта.

Газеты сменились афишами – и солдаты защищали от полиции листки, призывавшие их не душить Парижа и помогать защите Республики...

Семнадцатого марта вечером на стенах Парижа были расклеены правительственные воззвания, с таким расчетом, чтобы их прочитали как можно раньше; но восемнадцатого утром никто уже не интересовался ими...

Воззвание Тьера произвело на население не большее впечатление, как если бы оно исходило от короля Дагобера.

Все знали, что орудия, «украденные» якобы у государства, принадлежат национальной гвардии и что отдать их значило бы содействовать реставрации монархии. Господин Тьер попал в собственную ловушку: ложь была слишком очевидна, угрозы – слишком ясны.

Жюль Фавр с той безотчетностью, которая свойственна власть имущим, рассказывает, как подготавливалась провокация.

«Винуа[88], – говорит он, – хотел прекращением уплаты жалованья национальной гвардии добиться того, чтобы та начала открытую борьбу; мы считали, однако, этот путь опаснее прямого вызова».

Решено было поэтому действовать путем открытой провокации, хотя неудачное нападение на Вогезской площади должно было, казалось, научить осторожности.

С другой стороны, 31 октября и 22 января показали, на что способны буржуа, напуганные красным призраком.

Слишком памятливы были также Седан и капитуляция, чтобы солдаты, с которыми обитатели Парижа братски делились всем, согласились бы идти за теми, кто хотел использовать их для репрессий. «Но все чувствовали, что без решительных и быстрых действий, – как говорит Лефрансэ, – Республике и свободе грозит такая же участь, как второго декабря».

Армия заняла предместья в ночь с 17-го на 18-е, но, несмотря на несколько выстрелов, произведенных жандармами и блюстителями порядка, солдаты побратались с национальной гвардией.

На холме был расположен пост 61-го полка, расквартированного в доме № 6 по улице Розье. Я отправилась туда для поддержания связи по поручению Дарделля[89] и там осталась.

Два подозрительных субъекта, пришедшие туда вечером, были отправлены под охраной в мэрию, на которую они ссылались, но где никто их не знал. Их задержали, но утром во время атаки они исчезли.

Третий подозрительный субъект, некий Суш, явился под каким-то неопределенным предлогом в конце ночи. Он стал рассказывать всякие небылицы, которым никто не верил. Решено было не выпускать его из виду. Вдруг часовой Тюрпен пал, сраженный пулей. Пост был захвачен, хотя холостого выстрела из пушки, который должен был в случае атаки предупредить нас о ней, мы не слышали.

Но и без того чувствовалось, что день не кончится этим.

Мы с маркитанткой разорвали белье и сделали перевязку Тюрпену: в это время пришел Клемансо, который, не зная о том, что раненого уже перевязали, просил принести бинтов. Дав честное слово вернуться и подкрепив его обещанием Клемансо, я спустилась с холма, пряча ружье под плащом и крича: «Измена!»

Сформировалась колонна, весь наблюдательный комитет вошел в нее: Ферре, старый Моро, Авронсар, Лемуссю, Бюрло, Шнейдер, Бурдейль. Монмартр просыпался, били тревогу, я возвращалась, сдержав свое слово, но не одна, а с теми, кто шел отбивать холмы.

Подымалась заря, звуки набата прорезали воздух; мы шли, зная, что наверху найдем армию, готовую к бою. Мы мечтали умереть за свободу.

Нас словно что-то поднимало над землей. Пусть мы умрем, зато восстанет весь Париж. Бывают такие моменты, когда толпа становится авангардом человечества.

Холм был окутан белым светом, дивной зарей освобождения.

Вдруг я увидела мою мать возле себя и почувствовала, как дрогнуло мое сердце. Она пришла сюда в страшном беспокойстве и с нею много других женщин. Не знаю, как это случилось... Но не смерть ждала нас на холмах, где армия уже запрягала орудия, чтобы присоединить их к батиньольским пушкам, похищенным в течение ночи. Нас ждала неожиданная победа народа.

Между нами и армией на пушки и митральезы бросаются женщины, а солдаты остаются неподвижны.

Как только генерал Леконт командовал открыть огонь по толпе, из рядов вышел унтер-офицер, встал перед своей ротой и громче Леконта крикнул:

– Приклады вверх!

Солдаты повиновались. Этот поступок совершил Вердагер, который был расстрелян за это версальцами через несколько месяцев.

Революция совершилась.

Леконт, арестованный в тот момент, когда он в третий раз приказывал стрелять, был отведен на улицу Розье, где находился уже Клеман Тома, узнанный, несмотря на штатское платье, в котором он занимался изучением монмартрских баррикад. По законам войны они должны были быть расстреляны.

В Шато-Руже, главной квартире Монмартра, генерал Леконт подписал приказ об эвакуации холмов. По пути из Шато-Ружа на улицу Розье оба генерала нашли себе непримиримых врагов в лице своих собственных солдат. Пытки, которые военная дисциплина заставляет выносить в молчании, делают людей безжалостными.

Монмартрские революционеры, быть может, и спасли бы генералов от столь заслуженной ими смерти, хотя приговор над Клеманом Тома был произнесен уже давно теми, кто помнил об его июньских подвигах; капитан гарибальдийцев Эрпен Лакруа хотел даже рискнуть собственной жизнью, чтобы защитить их, несмотря на то что виновность обоих была совершенно очевидной. Но возбуждение против них все росло, раздался выстрел: ружья, казалось, сами стреляли.

Клеман Тома и Леконт были расстреляны около четырех часов дня на улице Розье. Клеман Тома умер с достоинством.

На улице Гудона один офицер ранил солдата, отказавшегося стрелять в толпу, за что сам был убит на месте.

Жандармы, скрытые за бараками, на внешних бульварах, не могли там удержаться, и Винуа бежал с площади Пигаль, потеряв, как говорят, свою шляпу.

Победа была полная; она была бы и прочной, если бы на следующий же день мы всей массой тронулись на Версаль, куда бежало правительство.

Многие из нас погибли бы в пути, но реакция была бы задушена в собственном логовище. К сожалению, законность, всеобщее голосование – все те предрассудки, которые губят революцию, взяли, как это обыкновенно бывает, верх.

Вечером 18 марта офицеры, взятые в плен вместе с Леконтом и Клеманом Тома, были отпущены на свободу Жакларом и Ферре: старались избегать как послаблений, так и бесполезной жестокости.

Через несколько дней умер Тюрпен, сказав, что умирает счастливым, так как видел революцию; он просил Клемансо позаботиться о его жене, которую он оставляет без всяких средств к существованию.

Возбужденная толпа провожала прах Тюрпена на кладбище.

– В Версаль! – кричал Теофиль Ферре, взобравшись на погребальную колесницу.

– В Версаль! – повторяла толпа.

Казалось, что мы уже идем туда. Промедление казалось Монмартру невозможным.

Но Версаль пришел к нам, а не мы к нему: вернее, его привели к нам наши собственные предрассудки, наша нерешительность.

## II. Ложь Версаля. – Действия центрального комитета

Девятнадцатого марта Брюнель с отрядом национальной гвардии занял казарму принца Евгения, а Пенди[90] и Ранвье – ратушу. В то время как некоторые группы населения оплакивали смерть Клемана Тома и Леконта, – к ним принадлежали политехники и небольшая группа студентов, до тех пор неизменно находившаяся в авангарде, – Центральный комитет, собравшись в ратуше, объявил, что так как его мандат исчерпан, то он останется у власти только до провозглашения Коммуны.

О, если бы эти честные люди питали меньше уважения к законности, как прекрасно могли бы они провозгласить Коммуну по дороге в Версаль!

Манифест Центрального комитета правильно излагал события 18 марта, в противовес правительственным сообщениям, которые продолжали извращать все факты. Даже батальоны центра с изумлением читали объяснения господина Тьера и его коллег, которые притворялись совершенно не понимающими положения, хотя, может быть, они его не понимали действительно.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПАРИЖА

Распространяется нелепый слух, будто правительство готовится государственный переворот.

У правительства Республики нет и не может быть иной цели, кроме блага Республики. Меры, которые оно приняло, были необходимы для поддержания порядка; правительство хотело тогда и хочет теперь при помощи этих мер покончить с повстанческим комитетом, члены которого, почти поголовно неизвестные населению, являются представителями коммунистических учений и грозят предать Париж разграблению, а Францию – могиле. Это произойдет, если национальная гвардия и армия не выступят дружно на защиту отечества и Республики.

А. Тьер, Дюфор, Э. Пикар, Ж. Фавр, Ж. Симон,

Пуйе-Кертье, генерал Лефло, адмирал Потюо,

Ламбрехт, де Ларси[91]

Париж, 18 марта 1871 г.

«Юпитер, – говорили древние, – ослепляет тех, кого хочет погубить». Этот Юпитер – власть.

Громы Версаля били мимо цели, ибо они не соответствовали общему положению и шли вразрез с настроением масс.

Центральный комитет в немногих словах опроверг правительственные вымыслы:

К НАРОДУ

Граждане!

Парижский народ сбросил ярмо, которое хотели надеть на него.

Спокойный, невозмутимый в сознании своей силы, он без вызова, но и без страха ждал того момента, когда наглые безумцы осмелятся посягнуть на Республику.

На этот раз наши братья-солдаты не пожелали поднять руку на святыню нашей свободы. Мы выражаем всем им свою благодарность. Пусть Париж, а с ним и вся Франция, заложат краеугольный камень истинной Республики, которую мы приемлем со всеми вытекающими из нее последствиями, ибо это единственная форма правления, раз навсегда кладущая конец вторжениям извне и междоусобным войнам. Осадное положение снято.

Население Парижа созывается в свои секции для производства коммунальных выборов.

Безопасность всех граждан обеспечена благодаря содействию национальной гвардии.

Центральный комитет 19 марта 1871 г. Вторая декларация еще подробнее разъясняла общее положение:

Граждане!

Вы поручили нам организацию обороны Парижа и защиту ваших прав.

У нас есть сознание, что эту миссию мы исполнили при помощи вашего благородного мужества и удивительной выдержки.

Мы прогнали правительство изменников.

Теперь наши полномочия истекают, и мы возвращаем вам их, ибо не стремимся занять место тех, кого только что смяла буря народного негодования.

Итак, готовьтесь и приступайте как можно скорее к коммунальным выборам. Единственная же награда, на которую мы рассчитываем – это воочию увидеть учрежденную вами истинную Республику.

В ожидании этой минуты именем народа мы продолжаем занимать ратушу.

Центральный комитет Национальной гвардии Парижская ратуша, 19 марта 1871 г. Бедные друзья мои, вы проглядели, что красноречивее всех деклараций была сама революция, которая завершила бы свое дело победой, обеспечивающей освобождение: все так привыкли обращать взоры к 89-му и 93-му годам, что говорили языком того времени.

Но Версаль говорил еще более старинным слогом, принимая воинственные позы, за которыми чувствовалась ловушка.

Сначала провинция ни во что не ставила этот поток версальской лжи; тем не менее мало-помалу, капля за каплей она внедрялась в умы, пока не заполнила их.

Транснонэнский карлик[92] искусно пользовался временем.

Любопытно отметить некоторые из прокламаций этого отвратительного человека.

Та, что была обращена к правительственным чиновникам, в комментариях не нуждается:

По проказу исполнительной власти вы обязуетесь отправиться и Версаль и отдать себя в ее распоряжение.

По приказу правительства никакая корреспонденция, исходящая из Парижа, не должна быть ни отправляема, ни доставляема по назначению.

Вся исходящая оттуда корреспонденция, которая будет получена в ваших отделениях в виде ли закрытых писем из Парижа или же в каком-либо ином виде, должна неукоснительно направляться в Версаль.

И так как этот приказ провинциальными почтовыми отделениями исполнялся, то господин Тьер мог впоследствии обвинять Коммуну в перехватывании писем.

«Правительственная газета», распространяемая по всей Франции, разносила повсюду из Версаля следующие строки:

Правительство, избранное собранием, созданным на основе всеобщего голосования, много раз заявляло о своем намерении установить Республику.

Те, кто покушаются свергнуть его, принадлежат к числу людей, ищущих беспорядка, убийц, не останавливающихся перед тем, чтобы сеять ужас и смерть в городе, который может спасти лишь хладнокровие и уважение к законам.

Эти люди – несомненные агенты врага или сторонников деспотизма. Мы надеемся, что их преступления вызовут справедливое негодование парижского населения, которое сумеет расправиться с ними, как они того заслуживают.

Глава исполнительной власти А. Тьер ...Чтобы вновь пережить эту эпоху, надо перерыть груды документов, надо говорить языком этого прошлого, которое отстоит от нас на 26 лет, но давность которого кажется тысячелетней: такими ребяческими предрассудками обладали герои того времени, так дешево ценили они свою жизнь.

Центральный комитет считал своим долгом оправдаться от версальских инсинуаций.

Его называли тайным, хотя члены его выставляли свои имена на всех воззваниях.

Он не состоял из неизвестных людей, так как избран был голосованием двухсот пятнадцати батальонов.

Все, что было даровитого и дельного в Париже, примкнуло к нему.

Его членов называли убийцами, а они не подписали ни одного смертного приговора.

Более того, один из самых робких членов чуть не провел в Центральный комитет резолюцию, осуждающую убийство толпой Леконта и Клемана Тома. Только вмешательство Руссо помешало этому:

«Берегитесь осуждать народ, чтобы он, в свою очередь, не перестал доверять вам: во время революции доверия лишаются те, кто желает свалить с себя личную или групповую ответственность».

Правительство, убежав в Версаль, оставило все кассы пустыми; оно оставило больных в госпиталях, лазареты и кладбища без денег; все учреждения были развалены. Вар-лен и Журд[93] имели под руками четыре миллиона, но так как ключи были в Версале, а они не решались взломать кассы, то они обратились к Ротшильду с просьбой о кредите в миллион франков и получили эту сумму. Было роздано жалованье национальной гвардии, которая удовлетворилась 30 су на человека, так как верила, что эта жертва будет полезна отечеству.

Госпитали и все другие учреждения получили все нужное, и «убийцы-грабители» из Центрального комитета принялись наводить самую строгую экономию, которая и продолжалась, перейдя затем к «бандитам Коммуны», вплоть до конца.

Ужас берет, когда подумаешь, сколько человеческих жизней можно было бы спасти, если бы у деятелей Коммуны было меньше уважения к сердцу капитала-вампира, сердцу, которое именуется банком. Вот где был настоящий заложник.

Противники Коммуны утверждают теперь, что она восторжествовала бы, если бы использовала для общего дела сокровища банка, которые были тогда доступны ей.

Подтверждение этому легко найти, между прочим, в следующих выдержках из статьи в газете *Matin* («Утро») от 11 июня 1897 года:

Под властью Коммуны. – История банка во время и после восстания.

\*\*\*

Итак, во Французском банке имелось ценностей на сумму три миллиарда триста двадцать три миллиона франков, что превышало половину военной контрибуции.

Что произошло бы, если бы Коммуна завладела этой суммой? А это она могла легко сделать и без всяких препятствий, если бы только банк был государственным, так как всеми государственными учреждениями она завладела.

Нет сомнения, что, обладая такими средствами, она могла бы вести победоносную войну.

Конечно, банк не раз должен был отпускать некоторые суммы Коммуне. Отчет Журда, который был делегирован в министерство финансов, отчет, признанный вполне точным, устанавливает, что общая сумма выдач банка равнялась 7 750 000 франков; но в сравнении с тремя с половиной миллиардами, находившимися в банковских сейфах, что представляла собою подобная сумма?

Линейная пехота, охранявшая банк, ушла в Версаль. Для защиты банка оставалось только 130 человек служащих, находившихся под командой одного из них, Бернара, бывшего батальонного командира; но они были плохо вооружены и имели не более десяти тысяч патронов.

23 марта, после отъезда Рулана в Версаль, управление банком было возложено на де Плека. Для начала де Плек получил от Жур-да и Варлена письмо угрожающего характера. Он послал своего кассира в мэрии первого и второго округов к адмиралу Сессэ[94] спросить: может ли он вступить в вооруженную борьбу и будет ли ему оказана помощь?

Адмирал Сессэ не возвращался из Версаля. Он был неуловим.



Помощник мэра первого округа, Мелин, просил передать де Плеку, чтобы он избегал борьбы и попробовал прийти к соглашению. Но другого пути к соглашению, кроме выдачи денег, не было, и де Плек, посоветовавшись с правлением банка, приказал выдать 300 000 франков вместо 700 000, которых требовал Журд.

В тот же день он выдал 200 000 казначейскому чиновнику, присланному из Версаля...

Об этом узнал Центральный комитет. Он поставил в известность де Плека, что всякая выдача денег Версалью или его представителям будет рассматриваться как государственная измена.

24 марта де Плек увиделся, наконец, с адмиралом Сессэ, который объявил ему в присутствии Тирара[95] и Шельхера[96], что он будет защищать банк. Но, провожая его, адмирал признался, что у него нет для этого достаточного количества сил. Об эвакуации банка нечего было и думать, так как для этого потребовалось бы 80 подвод, для охраны же их – целый армейский корпус...

Де Плек воспользовался этими переговорами, чтобы вывезти из Парижа 32 клише и тем создать препятствие для печатания ассигнаций на случай, если бы Коммуна завладела банком...

Де Плек стал убеждать Белэ, который был делегирован к нему, что для Коммуны самое лучшее – это назначить какого-нибудь полномочного комиссара, что если этим комиссаром будет Белэ и если он согласится ограничить свои полномочия контролем банка, то он, де Плек, охотно примет такого комиссара.

– Ну скажите, Белэ, – твердил он ему, – разве роль, которую я вам предлагаю, недостаточно почетна? Помогите мне спасти банк, это достояние всей родины, достояние всей Франции.

Белэ позволил себя убедить, и Коммуна ограничилась тем, что назначила в банк своего комиссара.

24 марта утром, впервые за 67 дней, перед банком вновь появились французские солдаты, но вместо того, чтобы немедленно заняться защитой его от возможных еще покушений, они прошли мимо, не останавливаясь. Точно так же прошел и второй батальон.

Тогда де Плек распорядился вывесить трехцветное знамя; в 8 часов генерал Л'Эритель вошел в банк и расположился там, устроив в нем свою главную квартиру.

Люди, которые получали 30 су в день и семьи которых жили впроголодь, имели в своем распоряжении в течение почти трех месяцев все сокровища банка. Ими руководило то же чувство, что и бедным старым Белэ, который дал себя так бессовестно обмануть; подобно ему, они верили, что берегут достояние Франции.

Коллективная декларация нескольких газет заявляла, что созыв избирателей, будучи актом народного суверенитета, не может иметь места без согласия властей, избранных всеобщим голосованием. Признавая, однако, что 18 марта народом была одержана крупная победа,

газеты эти хотели попытаться достигнуть соглашения между Парижем и Версалем. Тирар, Демарэ[97], Вотрен[98] и Дюбайль[99] отправились в мэрию первого округа, где оставался Жюль Ферри; последний послал их к Гендле, секретарю Жюля Фавра, который заявил им, что не желает вступать в переговоры с мятежниками.

Милльер, Малон, Клемансо, Толен, Пуарье и Вильнев[100] предложили Центральному комитету, не доводя дело до борьбы и до вмешательства пруссаков, положиться во всем на муниципалитеты, которые уже позаботятся о свободе муниципальных выборов, так как полицейская префектура упразднена, а сам Центральный комитет наблюдает за безопасностью Парижа.

Варлен, председательствовавший в тот день на заседании Центрального комитета, ответил, что правительство было нападающей стороной, но что ни Центральный комитет, ни национальная гвардия гражданской войны не желают.

Время до 23 марта прошло в предварительных переговорах, а в этот день на заседании Национального собрания Милльер, Клемансо, Малон, Локруа[101] и Толен стали требовать муниципальных выборов для города Парижа.

Впечатление от этого заседания можно передать, лишь предоставив слово одному из парижских делегатов. Вот рассказ Малона:

23 марта 1871 г., 6 1/2 час. утра

Я только что оставил дворец, в котором заседает собрание, и ухожу с самым тяжелым чувством. Заседание кончилось одной из тех ужасных парламентских бурь, подобную которой можно найти разве только в анналах Конвента; но когда перечитываешь мрачные страницы нашей истории конца прошлого века, всегда находишь известное утешение в развязке трагических перипетий драмы. Родина, Республика из этих кризисов выходили еще более великими, и в результате самых бурных споров рождались героические решения.

Ничего подобного не найдете вы в моем рассказе.

Две первые трибуны правой галереи справа открылись, зрители, наполнявшие их, поднимаются и уходят, и там появляются 13 мэров Парижа в шарфах, перевязанных крест-накрест.

Тотчас же на всех скамьях левой раздаются бешеные аплодисменты и крики:

– Да здравствует Республика!

Иные кричат еще:

– Да здравствует Франция!

В ответ на это на некоторых скамьях правой подымается уже не гнев, а какая-то дикая ярость, бред, слышатся угрозы; мэрам грозят кулаками.

Несколько депутатов бросаются к трибуне, где все еще надывается несчастный Баз; грозят кулаками ему и председателю. Стоит невообразимый, неопиcуемый шум.

Наконец – вероятно, от изнеможения, – шум несколько затихает, крайние правые надевают свои головные уборы и направляются к выходу.

Председатель, не перестававший звонить в продолжение всей этой бури, тоже надевает шляпу и объявляет заседание закрытым, ввиду того что распорядок дня исчерпан.

Волнение на трибунах достигает предела; зала понемногу пустеет.

Но там остаются еще бедные мэры, застывшие в растерянных позах, с лицами, полными отчаяния. Арно де Л'Арьеж присоединяется к ним, и они выходят последними.

Выходя, я встречаю женщин из лучшего общества, известных своим умом и благородством, с трудом сдерживающих свои слезы: так подействовало на них зрелище, свидетельницами которого они только что были. Как я их понимаю! Разве не слезами должна быть написана мрачная страница истории последних месяцев! Вот как господа из Версаля понимали соглашение[102].

– На вас, – закричал Клемансо, обращаясь к собранию, – падет вина за все, что произойдет.

Флоке к этому добавил:

– Эти люди – сумасшедшие!

Действительно, они сошли с ума от страха перед революцией. Но разве другого приема мог ожидать тот, кто имел намерение разговаривать с этими бесноватыми!

Большая часть мэров уцепились за последнюю попытку соглашения (которая не удалась): Дориан[103] – мэр Парижа, Эдмон Адан[104] – префект полиции, Ланглуа[105] – командир национальной гвардии: такова была эта программа.

Но в то время, как ее вырабатывали, Ланглуа собирал батальоны «порядка» и концентрировал их у «Гранд-Отеля». Эдмон Адан отказался. Когда адмирал Сессэ добился в Версале утверждения своего назначения, он велел расклеить афиши, в которых объявлял о согласии Национального собрания охранять республику и даровать Парижу муниципальные вольности, выборы в кратчайший срок, закон об отсрочке платежей и квартирной платы.

Не кажется ли вам, что вы видите перед собой испанское министерство, узаконивающее независимость Кубы с Вейле-ром[106] в качестве начальника Главного штаба!

Париж знал, чего ему ждать.

Двадцать пятого марта в Национальном собрании было получено письмо парижских депутатов, умолявших правительство не оставлять дольше города без муниципального совета.

Письмо было положено под сукно и оставлено без ответа.

Переговоры между Центральным комитетом и мэрами продолжались. Комитет чувствовал, что никакие попытки к примирению с Версалем не приведут ни к чему. Тогда мэры объединились и примкнули к Центральному комитету...

Пока Тьер и его сообщники распространяли ложь и клевету, Центральный комитет с помощью нескольких революционеров, таких как Эд, Вальян[107], Ферре, Варлен, поспевал всюду, и парижская «Правительственная газета» известила население о следующих мероприятиях:

Осадное положение в департаменте Сены снимается.

Военные суды постоянной армии упраздняются.

Объявляется полная и безусловная амнистия по всем политическим преступлениям и проступкам.

Директорам всех тюрем вменяется в обязанность немедленно выпустить на свободу всех заключенных по политическим делам.

Новое правительство Республики заняло уже все министерства и административные учреждения.

Этот акт – дело рук национальной гвардии – налагает большие обязанности на граждан, взявших на себя эту задачу.

Армия, понявшая, наконец, свое положение и свой долг, слилась с населением города; линейные войска, моряки и мобили слились для общего дела.

Воспользуемся же этим единением для того, чтобы теснее сплотить наши ряды и раз и навсегда утвердить Республику на прочных, незыблемых основаниях.

Пусть национальная гвардия в согласии с линейными войсками и мобилиями беззаветно и мужественно продолжает свою службу.

Пусть маршевые батальоны, у которых налицо почти полные кадры, займут форты и все передовые позиции для обеспечения защиты города.

Муниципалитеты округов, воодушевленные тем же рвением и патриотизмом, что и национальная гвардия и армия, присоединились к ним, чтобы обеспечить спасение Республики и подготовить выборы в коммунальный совет, которые будут иметь место немедленно.

Прочь всякие раздоры! Да будут везде полное согласие и полная свобода!

Центральный комитет Национальной гвардии

### III. Дело 22 марта

Сторонники «законного» правительства, «друзья порядка» и реакционеры всякого рода, не довольствуясь версальскими конспирациями, пытались в самом Париже поднять контрреволюционное восстание, но последнее оказалось таким жалким, что его только с большой натяжкой можно было назвать восстанием.

Глядя на эту манифестацию, собравшуюся на площади Новой Оперы 22 марта около 2 часов дня, можно было подумать, что это группа актеров, репетирующих историческую драму.

Из их планов кое-что, однако, вышло наружу. Они говорили, например, что заколют часовых, обнимая их, но все это скорее напоминало театральную «постановку»; даже место было как бы нарочно выбрано для драматической репетиции. Мы решили подождать, до чего собираются дойти эти субъекты.

Когда манифестация стала уже довольно многочисленной, участники ее – в большинстве элегантно одетые молодые люди – направились по улице Мира; во главе их шли известные бонапартисты – де Пен[108], де Коетлогон, де Геккерен; знамя без всякой надписи развевалось впереди колонны.

Демонстранты осыпали бранью и оскорблениями безоружных национальных гвардейцев, которые пробовали осведомляться о цели шествия.

Шествие достигло Вандомской площади, где находились вооруженные федераты, которые в боевом порядке, но с запрещением стрелять двинулись навстречу манифестантам.

При встрече обоих отрядов манифестация приняла резко агрессивный характер. Раздались крики:

– Долой комитет! Долой убийц! Долой разбойников! Да здравствует порядок!

Выстрелом из револьвера был ранен Мальжурналь, член Центрального комитета.

Как добродушны ни были национальные гвардейцы, они не могли не видеть, что имеют дело далеко не с мирной демонстрацией.

Бержере[109] сделал первое предостережение, второе... десятое.

После десятого предложения разойтись поднялись крики:

– Да здравствует порядок! Долой убийц восемнадцатого марта! – и слышались выстрелы.

Тогда национальные гвардейцы стали отвечать: надо же было отразить атаку.

Характерная для мягкосердечия федератов черта, черта людей, дешево ценивших свою жизнь и так бережно относившихся к чужой: многие из них стреляли в воздух, как и 22

января.

Как трудно было этим у бийцам 18 марта целиться в человеческую грудь!

Нападающие действовали совсем иначе: им помогали еще выстрелы из окон; если бы федераты не были так осторожны, на месте остались бы груды трупов.

Правда, многие из манифестантов стреляли так плохо, что попадали в своих. Но в своем озлоблении против национальных гвардейцев они все же многих ранили, двоих же – Валена и Франсуа – убили. Со стороны манифестантов было тоже несколько убитых: молодой виконт де Малине был убит выстрелом в спину своими; он упал лицом на мостовую. На теле его нашли прикрепленный цепью к поясу кинжал, точно этот бедный щеголь боялся потерять свое оружие.

Эта ребяческая черта сильно растрогала одного гвардейца.

Что касается де Пена, то и он чуть не был убит выстрелом, раздавшимся из рядов его же сторонников.

Когда манифестанты были рассеяны, на мостовой осталась масса оружия: кинжалы, стилеты, револьверы, которые те побросали, убегая.

Доктор Рамлоу, бывший старший хирург тулузского гарнизона, и много других подоспевших врачей распорядились отнести мертвых и раненых в лазарет Общества движимого кредита.

У национальных гвардейцев, сражавшихся с этими молодыми людьми, навсегда осталась какая-то боль в душе, хотя они вели бой с таким необыкновенным благородством: сердца этих людей были до крайности мягки.

Во время кровавых версальских репрессий я часто думала о поведении национальной гвардии 22 марта и во все время борьбы.

Центральный комитет приказал расклеить афишу, угрожавшую строгими карами тем, кто будет участвовать в заговорах против Парижа. Но с самого начала и вплоть до гибели Коммуны реакция продолжала безнаказанно конспирировать против нее.

О храбрецы 1871 года, героические жертвы гекатомбы! Вы унесли это благородство с собой, под обагренную вашей кровью землю. Оно вернется на землю только по окончании борьбы за новый, лучший мир.

Перечитаем прокламации, выпущенные после того, как революция 18 марта овладела Парижем: волнующие слова того времени воскресят перед нами великую драму.

Сколько кровавых событий нагромождено одно на другое, сколько человеческого праха развеяно во все стороны ветром! На языке холодных резолюций настоящего мы не сумеем достаточно ясно восстановить благородство, сказывавшееся тогда во всем.

О, это великодушие, эта чистая эпопея людей удивительной доброты!

И я, которую обвиняют в беспредельной доброте, я, не бледнея, как снимают камень с рельс, отняла бы жизнь у этого карлика, которому суждено было пролить столько крови. Волны крови не пролились бы, горы трупов не выросли бы в Париже, и город не превратили бы в место бойни.

Заранее предвидя подвиги этого буржуа с сердцем тигра, я думала о том, что если мне удастся убить Тьера в Палате, реакция, терроризированная этим, остановит свое наступление.

Как упрекала я себя впоследствии в дни поражения за то, что советовалась по этому поводу с другими: наши две смерти предупредили бы парижскую резню.

Своим планом я поделилась с Ферре, который напомнил мне, что расстрел Леконта и Клемана Тома в провинции и даже в самом Париже вызвал замешательство и чуть ли не порицание масс.

– Это новое убийство, – сказал он, – может приостановить все движение.

Я этому не верила, а с другой стороны, какое мне было дело до чьего-либо порицания, если того требовали интересы революции. Но все-таки он мог быть и прав.

Риго к нему присоединился.

– Кроме того, – прибавили они, – вам и не добраться до Версаля.

Я имела слабость поверить, что они правы в том, что касается этого чудовища. Но относительно путешествия в Версаль я была уверена, что при некоторой решительности оно удастся, и решила сделать опыт.

Через несколько дней, переодевшись так искусно, что сама себя не узнавала, я преспокойно отправилась в Версаль и прибыла туда без всяких затруднений. Не менее благополучно прошла я и в самый парк, где раскинуты были рваные палатки, служившие лагерем для армии, и там начала свою пропаганду революции 18 марта.

Эти рваные палатки под оголенными деревьями производили гнетущее впечатление.

Не помню, что я говорила этим людям, но я чувствовала, что они меня слушают.

На другой день один офицер явился в Париж через Сен-Сир и обещал, что за ним придут и другие.

Армия в это время была далеко не блестящей, у кавалерии были только тени лошадей.

Выйдя из парка, я зашла в большой книжный магазин: там была дама, которой я внушила большое доверие. Я захватила с собой кучу газет и, спросив адрес гостиницы, где можно

найти надежный приют, и не преминув отборными словами отозваться о самой себе, отправилась обратно в Париж.

Комиссарами на Монмартре были тогда Лемуссю, Шнейдер, Дианкур, Бюрло. Сначала я зашла в канцелярию Бюрло, который, как мне было известно, придерживался мнения Ферре и Риго; он меня не узнал.

– Я только что из Версаля, – сказала я и поведала ему историю, которую после повторила также Риго и Ферре, называя их жирондистами, хотя я не вполне была уверена в том, что они ошибались и что кровь этого чудовища не будет роковой для Коммуны. Ничто не могло быть фатальнее майской резни, но идея может быть сильнее всего.

Через несколько месяцев после моего путешествия в Версаль, когда я сидела в тюрьме де Шантье, куда по воскресеньям являлись, точно в зверинец, офицеры со своими разряженными дамами, один из них вдруг сказал мне:

– Да ведь это вы приходили к нам в версальский парк?

– Да, – сказала я ему, – это я; вы можете рассказать об этом, это будет в соответствии с общей картиной, да у меня и нет ни малейшей охоты защищаться.

– Неужели вы считаете нас сыщиками?! – воскликнул он с искренним негодованием.

Так как этот разговор происходил в то время, когда бойня еще продолжалась, и мы все были под впечатлением незабываемых ужасов, я сказала ему жестко:

– Во всяком случае, вы – убийцы!

Он не ответил мне, и я поняла, что многих из них просто нагло обманули, и что некоторые начинали испытывать угрызения совести.

## IV. Провозглашение Коммуны

Провозглашение Коммуны удалось блестяще; это был не праздник власти, а торжество самопожертвования: все чувствовали, что избранные готовы на смерть.

Днем 28 марта, при ярком солнце, напоминавшем зарю 18 марта, 7 жерминаля 79 года Республики, парижский народ, который 26-го выбирал свою Коммуну, праздновал свое вступление в ратушу.

Человеческий океан; ружья, штыки, тесно, как колосья в поле, прижатые друг к другу; медь труб, разрезающих воздух; глухие звуки барабанов, среди которых особенно неподражаемая дробь двух больших монмартрских барабанов, тех самых, что в ночь вступления пруссаков и утром 18 марта будили Париж своими похоронными ударами; их стальные палочки выбивали и теперь странные звуки.



Но на этот раз набата не было слышно. Глухой рев пушек, раздававшийся через правильные промежутки времени, приветствовал революцию.

Штыки склонялись перед красными знаменами, которые окружали со всех сторон бюст Республики.

На вершине развевалось огромное красное знамя. Батальоны Монмартра, Бельвиля, Ля-Шанелли украсили свои знамена красными фригийскими колпаками, совсем как у секций 1793 года.

Здесь были оставшиеся в Париже солдаты всех родов оружия: линейная пехота, флот, артиллерия, зуавы[110].

Море штыков вздымается все выше и выше, растекаясь по прилегающим улицам. Площадь была полна и действительно производила впечатление поля ржи. Какова-то будет жатва!

Весь Париж на ногах. Размеренно гудят орудия.

На эстраде – Центральный комитет; перед ним – члены Коммуны, все в красных шарфах. В перерывах между выстрелами произносятся короткие речи. Центральный комитет объявляет об окончании срока своего мандата и передает власть Коммуне.

Имена избранных покрываются оглушительным криком:

– Да здравствует Коммуна!

Бьют барабаны; гром орудий сотрясает почву.

– Во имя народа Коммуна провозглашена! – объявляет Ранвье.

Все было грандиозно в этом прологе Коммуны, апофеозом которой должна была быть смерть.

Речей нет, один только крик:

– Да здравствует Коммуна!

Оркестры играют «Марсельезу» и «Походную песнь». Ураган голосов подхватывает их.

Группа стариков склоняет головы к земле; можно подумать, что оттуда им слышатся голоса мертвецов, голоса убитых за свободу: это ветераны, пережившие июнь и декабрь, иные, совсем седые, участники 1830 года – Мабиль, Малезье, Кайоль.

Если вообще какая-нибудь власть способна была что-нибудь сделать, то это, конечно, была Коммуна, составленная из людей большого ума, мужества, изумительной честности, людей, которые давно или недавно, но все дали неопровержимые доказательства своей преданности делу и энергии. Власть, бесспорно, многое в них придавила, оставив им

непреклонную волю лишь для самопожертвования: они сумели умереть, как герои.

В тот же вечер, 28 марта, произошло первое заседание Коммуны, озаглавленное решением, достойным величия такого дня: во избежание каких бы то ни было личных вопросов или интересов в такое время, когда все личности должны были раствориться в революционной массе, было постановлено, что все воззвания будут подписываться просто: Коммуна.

Уже с первого заседания многие почувствовали, что задыхаются в горячей революционной атмосфере, и не пожелали идти дальше: подано было несколько заявлений о немедленной отставке.

Так как эти отставки повлекли за собой дополнительные выборы, то Версаль мог с пользой употребить время, теряемое Парижем около избирательных урн.

Вот манифест, принятый на первом заседании Коммуны:

Граждане!

Наша Коммуна учреждена. Вотум 26 марта санкционировал победу революции.

Подлая власть напала, схватив нас за горло; в состоянии законной обороны вы прогнали от наших стен правительство, которое хотело навязать вам короля.

Ныне преступники, которых вы не захотели даже преследовать, злоупотребляя вашим великодушием, устраивают у самых ворот города очаг монархической конспирации. Они провоцируют гражданскую войну, пускают в ход все средства подкупа и развращения, ищут себе повсюду соучастников и не стыдятся кланчить помощи у внешнего врага.

Преступное поведение этих людей заставляет нас взывать к суду Франции и всего мира.

Граждане, вы только что создали учреждения, способные бороться против всяких покушений.

Вы – хозяева своей судьбы! Ваши представители, только что утвержденные вами и сильные вашей поддержкой, сумеют исправить весь ущерб, причиненный городу павшим правительством.

Расстроенная промышленность, прерванный труд, парализованная торговля получат новый мощный импульс.

Сегодня будет принято давно ожидаемое постановление о квартирной плате, завтра будет решен вопрос об отсрочке платежей.

Все общественные учреждения будут восстановлены, работа в них упрощена.

Национальная гвардия, отныне единственная вооруженная сила города, будет реорганизована без промедления.

Таковы будут наши первые шаги.

Народные избранники просят своих избирателей поддерживать их своим доверием в деле упрочения торжества Республики.

Со своей стороны, они исполнят свой долг.

Парижская Коммуна 28 марта 1871 г.

Они действительно исполнили свой долг, как могли. Они всячески старались обеспечить жизнь массам. Но увы – первое, о чем следовало позаботиться, это о решительной победе над реакцией.

В то время как в Париже возрождалось взаимное доверие, версальские крысы прогрызли киль корабля.

По различным мотивам подали в отставку еще следующие лица: Улисс Паран, Фрюно, Гупиль, Лефевр, Робине, Мелин[111].

С первых же дней были образованы, хотя и не в окончательном виде, комиссии[112]; сообразно своим склонностям и способностям, члены одной комиссии переходили иногда в другую.

Коммуна разделялась на «большинство», состоявшее из ярых «революционеров», и «меньшинство» – социалистическое, достаточно склонное к доктринерству, когда времени было так мало. Но обе группы, большинство и меньшинство, сходились всегда в одном: в боязни несправедливых или деспотических мер; это приводило оба крыла к одинаковым решениям.

Одинаковая преданность революции сделала их судьбы одинаковыми.

– Большинство тоже умеет умирать, – сказал несколько недель спустя Ферре, целуя мертвого Делеклюза...

– Что бы ни случилось, – говорили члены Коммуны и национальные гвардейцы, – нашей кровью будет глубоко запечатлен новый этап истории.

Кровь запечатлела его действительно так глубоко, что земля пресытилась ею; она вырыла такие пропасти, которых не перешагнуть, чтобы вернуться вспять. Красные розы, напоенные кровью, цветут на склонах этих пропастей.

## V. Первые дни Коммуны. – Первые мероприятия. – Жизнь в Париже

Парижу была дана передышка. Он очутился в положении людей, застигнутых приливом и видящих, как волны подкатываются все ближе, грозя захлестнуть их приют. Версаль надвигался медленно, но верно.

Первыми декретами Коммуны были: запрещение продажи вещей, не выкупленных из ломбарда, уничтожение бюджета культов и рекрутского набора. Тогда думали, а может быть, думают и теперь, что можно расторгнуть сожительство церкви и государства, гнусное сожительство, за которым скрываются горы трупов. Нет, им суждено исчезнуть только зараз и вместе.

Далее последовали конфискация выморочных имуществ, пенсии раненым на фронте федератам, а также пенсии как законным, так и незаконным женам, законным и незаконным детям федератов, убитых в бою.

Версаль позаботился о том, чтобы было кому выдавать пенсию.

Жена, требовавшая от мужа развода, в случае, если требование основывалось на достаточных доказательствах, также имела право на получение пособия.

Обычная судебная процедура была уничтожена, и сторонам предоставлено право защищаться самим.

Были запрещены обыски без предъявления ордера.

Было воспрещено совместительство, и максимум жалованья чиновников определен в 6000 франков в год.

Содержание членов Коммуны равнялось 15 франкам в день, что далеко не достигало максимума.

Коммуна постановила организовать палату гражданского суда в Париже.

Была установлена выборность чиновников; все граждане должны были судиться судом присяжных, выбранных из их же среды.

Немедленно приступили к использованию брошенных мастерских силами рабочих ассоциаций.

Жалованье учителям было назначено 2000 франков. Решено было снести Вандомскую колонну[113], как символ грубой силы, как столп и утверждение императорского деспотизма, как оскорбительный вызов принципу братства народов.

Позже, чтобы положить предел убийству военнопленных, которое было в обычае у версальцев, был опубликован декрет о заложниках из числа сторонников Версаля. (Действительно, это оказалось единственным средством приостановить избиение пленных; к сожалению, к нему прибегли поздно, когда не реагировать на эти зверства было равносильно измене.)

Коммуна запретила штрафы в мастерских, уничтожила политическую и профессиональную присягу, опубликовала призыв к ученым, изобретателям и художникам.

Но время шло, и версальская кавалерия уже не походила на прежние «тени лошадей». Тьер всячески льстил армии, ибо она нужна была ему для его высоких и низких дел.

Вещи, заложенные в ломбарде менее чем за 20 франков, были возвращены закладчикам.

Хотели уничтожить ночную работу в булочных как слишком тяжелый труд, но то ли по долгой привычке, то ли потому, что дневной труд в булочных был бы еще более тяжким, булочники предпочли работать по-старому.

Повсюду кипела напряженная жизнь. Курбе[114] в горячем воззвании говорил: «Если каждый без помехи отдастся своему делу, значение Парижа удвоится, и интернациональная столица Европы сможет дать искусству, промышленности, торговле, деловым людям и туристам всех стран гарантию ненарушимого порядка, осуществляемого самими гражданами, порядка, которому нечего бояться чудовищного честолюбия монархических претендентов».

\*\*\*

Прощай, старый мир и его дипломатия!

В этом году в Париже действительно была выставка, но устроенная старым миром и его дипломатией, – выставка мертвецов. Сто тысяч трупов, сто, а не тридцать пять, лежали распростертыми в громадном морге, в каменной раме укреплений.

Но искусство все-таки бросило свои семена. Первая же эпопея расскажет об этом...

Федеральная комиссия художников функционировала с середины апреля, в то самое время, как версальское собрание распространяло слухи о том, что Коммуна якобы намеревается уничтожить науки и искусства.

Музеи были открыты для широкой публики, Тюильрийский парк и другие сады – для детей.

В Академии наук ученые мирно вели свои дебаты, не обращая внимания на Коммуну, которая не оказывала на них никакого давления...

С глубоким спокойствием ученые занимались решительно всем, начиная с ненормального питания гиацинтовой луковицы до электрических токов. Бурбуз, химик при Сорбонне,

изобрел электрический прибор, посредством которого он без провода передавал на короткие расстояния телеграммы; Академия наук уполномочила его произвести опыты между мостами Сены, так как вода лучший проводник электричества, чем земля...

Повсюду были открыты курсы, чтобы удовлетворить пылкую жажду знаний у молодежи.

Стремились ко всему: к искусству, науке, литературе, изобретениям. Жизнь кипела. Все спешили бежать от старого мира.

## VI. Атака Версаля. – Неизданный рассказ Гектора Франса и Чиприани о смерти Флуранса

Как раньше хотели непременно узаконить членов Коммуны путем выборов, так теперь было решено подождать атаки версальцев, дабы не провоцировать гражданской войны на глазах у неприятеля, – как будто бы единственным врагом народа не являются тираны.

Когда генералы, на этот раз более внимательные, убедились, что нет недостатка ни в чем, включительно до пуговиц на гетрах, когда они убедились, что сабли наточены, – Версаль решил атаковать.

Своры рабов, под ударами бича ропщущие на судьбу, обвиняли во всем Коммуну и соединились против нее со своими господами.

У человеческого стада так велика привычка ждать приказаний, что никому из тех, кто 19 марта кричал «В Версаль!» – ни Монмартру, ни Бельвиллю, никому из всей нашей пламенной армии не пришло в голову, вооружившись, как представлялось возможным, организовать и выступить. Кто знает, не повторится ли то же самое в подобном случае еще раз?

Второго апреля в шесть часов утра Париж был разбужен пальбой.

Сначала подумали, что это какой-нибудь праздник у пруссаков, находившихся неподалеку; но скоро узнали правду: это Версаль начал нападение.

Первыми жертвами были ученицы какого-то пансиона в Нейи (у входа в церковь, куда они, без сомнения, шли молиться за Тьера и Национальное собрание).

Версальцы стреляли куда попало. Бог убийц узнает своих, особенно когда торопится.

Две армии, двигавшиеся на Париж, – одна через Монтрету и через Вокресон, другая через Рюйель и Нантер, – соединились в Берже, захватили врасплох и разбили отряды федератов у Курбеуа. Уцелевшие федераты сначала немного отступили, но потом оправились и, поддержанные гарибальдийскими вольными стрелками, вновь вступили в бой. В тот же

вечер Курбеуа был взят обратно. Там нашли трупы пленных, вытянутые в ряд на набережной.

На этот раз решили сделать вылазку.

Войска Коммуны выступили 3 апреля в 4 часа утра.

Одни шли на Версаль под командой Бержере, Флуранса и Ранвье, мимо Мон-Валерьяна, который все еще считался нейтральным; другие, под командой Эда и Дюваля[115], двигались со стороны Кламара и Медона.

Вдруг Мон-Валерьян покрылся дымом, и ядра дождем посыпались на федератов.

Мы уже отмечали, что комендант Мон-Валерьяна, обещавший Люлье, явившемуся к нему от имени Центрального комитета, нейтралитет форта, поспешил срочно предупредить об этом Тьера; и так как офицер французской армии не мог нарушить своего слова, то Тьер попросту сменил этого коменданта другим, который ничего не обещал; этот другой и открыл утром огонь по федератам.

Маленькая армия под начальством Флуранса и с Чиприани в качестве начальника штаба разделилась на мосту в Нейи: Флуранс двинулся по набережной Пюто к Монтре-ту, а Бержере направлялся по авеню Сен-Жермен в Нантер. Соединиться они должны были в Рюйеле, располагая силами приблизительно 15 000 человек.

Несмотря на катастрофу с Мон-Валерьяном, большая часть федератов продолжала идти к месту соединения.

Иные, заблудившись в полях близ Мон-Валерьяна, возвращались в Париж поодиночке. Обе колонны соединились в Рюйеле, где выдержали обстрел все еще не смолкавшего Мон-Валерьяна.

Лишь когда вся земля была покрыта трупами, оставшиеся в живых разбрелись.

На перекрестке Курбеуа версальцы установили батарею, подвергшую бомбардировке мост Нейи.

Множество федератов было взято в плен.

В тот самый момент, когда версальцы начали свои военные действия, Галиффе[116] разослал следующий циркуляр, не оставлявший никаких сомнений ни относительно его собственных намерений, ни относительно взглядов правительства.

Война была объявлена бандитам Парижа.

Вчера и сегодня они убили у меня солдат.

Я объявляю этим убийцам войну без жалости и пощады.

Сегодня утром я был принужден дать им примерный урок; пусть он будет спасителен: я желал бы не доводить себя больше до подобной крайности.

Не забывайте, что страна, закон, а следовательно, и право – на стороне Версаля и Национального собрания, а не шутовского собрания, которое именует себя Коммуной.

Командующий бригадой, генерал Галиффе 3 апреля 1871 года Галиффе составил эту прокламацию в мэрии Рюйеля, не потрудившись даже смыть с себя забрызгавшую его кровь.

Глашатай, читавший это воззвание под барабанный бой на улицах Рюйеля и Шату по приказу начальства, добавлял:

– Председатель муниципальной комиссии предупреждает жителей в интересах их собственной безопасности, что те, кто дает убежище врагам Национального собрания, будут подлежать суду по законам военного времени.

Этого председателя звали Лобёф.

Добрые граждане Рюйеля, Шату и других местечек, держась обеими руками за голову, чтобы удостовериться, что она еще держится у них на плечах, посматривали, не видно ли какого-нибудь беглеца с поля битвы, чтобы выдать его Версалью.

Отряд Дюваля сражался с утра против отрядов регулярной армии, соединившихся с полицейским. Он забил отступление к Шатильону только после настоящей бойни.

Дюваль, двое из его офицеров и несколько федератов, взятых в плен, почти все были расстреляны на следующее утро вместе с солдатами, перешедшими на сторону Коммуны; у последних перед казнью срывали галуны.

Четвертого апреля утром бригады Дерожа и генерала Пелле заняли Шатильонское плато. Генерал дал обещание сохранить федератам жизнь, и они, окруженные со всех сторон, сдались. Узнанные в их рядах солдаты были тотчас же расстреляны; остальных отправили в Версаль, осыпая оскорблениями.

По дороге их встретил Винуа и, не решаясь, после обещания Пелле, расстрелять всех, спросил, есть ли среди них начальники.

Дюваль выступил из рядов.

– Я! – сказал он.

Начальник его штаба и командир добровольцев Монружа тоже вышли из рядов и тоже встали возле него.

– Вы ужасные негодяи! – крикнул им Винуа и приказал расстрелять их. Они сами прислонились к стене, пожали друг другу руки и пали с криком:



– Да здравствует Коммуна!

Какой-то версалец стягивает с Дюваля сапоги и демонстрирует их; обычай разувать убитых коммунаров стал впоследствии повальным в версальской армии.

На следующий день Винуа заявлял:

– Федераты сдались. Начальник их, некто Дюваль, был убит в сражении.

Другой версалец прибавлял:

– Эти разбойники умирают с какой-то хвастливой гордостью.

Отвратительные порождения жестокого времени, элегантные женщины, появлявшиеся неизвестно откуда, наносили пленникам оскорбления и кончиком своих зонтиков выкалывали мертвым глаза; эти гадины появились после первых же боев с версальской армией.

Жадные до крови, как вампиры, они были одержимы настоящим бешенством. Среди них, говорят, были женщины всех слоев общества, развращенные всем строем жизни и действовавшие под влиянием самых грязных инстинктов; они были чудовищны и вместе с тем безответственны, как волчицы.

Между пленными парижанами, этими «убийцами», которых Версаль при встрече приветствовал воем, был географ Элизе Реклю[117]. Он и его товарищи были отправлены в Сатори, откуда их послали на понтоны[118] в скотских вагонах.

Никого, конечно, так не обманывали, как солдат; для версальцев солдаты были не только пушечным мясом, но и постоянной добычей лгунов. У жителей Версаля голова была набита баснями о бандитизме коммунаров и об их сговоре с пруссаками; при помощи этих басен армия становилась послушным орудием для самых невероятных жестокостей.

Рассказ о последних минутах и смерти Флуранса был передан мне в прошлом году Гектором Франсом, последним из наших товарищей, видевших Флуранса живым, и Амилька-ром Чиприани, его товарищем по оружию и единственным свидетелем его смерти. Оба просили меня опубликовать этот рассказ в моей книге.

– Я находился вместе с Флурансом, – говорит Гектор Франс, – начиная с кануна рокового дня. Я присоединился к нему у ворот Майо, где были собраны предназначенные для вылазки батальоны федератов. Он взял меня с собой в качестве адъютанта.

Мы провели ночь без сна. Держали совет, на котором присутствовали все ротные командиры. Я вернулся с Флурансом на рассвете мимо выстроившихся вдоль дороги федератов. Он был верхом.

Мы пустились в путь. Подойдя к мосту, мы нашли его разведенным: ни пушки, ни фургоны, ни повозки, таким образом, не могли быть переправлены. Флуранс сказал мне:

– Возьмите орудия и снаряды и попытайтесь проехать другим мостом.

Наш путь лежал мимо Мон-Валерьяна, который уже начал стрелять по корпусу Бержере; некоторые батальоны последнего, направлявшиеся в Париж, попались нам навстречу.

Я продолжал всю дорогу кричать: «В Версаль! В Версаль!»

Но не зная, по какому направлению идти, я был вынужден справиться об этом у какого-то железнодорожника; тот отвечал мне, что не знает, но когда я приставил к его лбу револьвер, он указал нам дорогу. Я помчался во весь опор с тремя пушками и фургонами боевых припасов, сопровождаемыми отрядами федератов. При орудиях находились артиллеристы; кроме того, с нами была полурота национальной гвардии, которой Флуранс поручил охранять нас. Но они отстали по дороге, ибо не могли выдержать темпа нашей скачки.

Мы миновали форт, стрельба из которого не прекращалась.

Без всяких инцидентов я догнал Флуранса недалеко от Шату; он тотчас же послал меня предупредить Бержере о моем приезде и просить его соединиться с нами.

Вот тогда-то гранаты с Мон-Валерьяна посыпались дождем на Шату.

Возвратившись к Флурансу с отчетом о моей миссии к Бержере, я нашел его и Чиприани окруженными целой толпой офицеров и гвардейцев, которые, подозревая измену, осыпали их бранью. Гранаты начинали падать в деревню, и это выводило их из себя.

Флуранс, увидев себя мишенью стольких упреков, соскочил с лошади и, не говоря ни слова, бледный как смерть, направился в поле; я поделился моими опасениями с Чиприани, сказав ему:

– Вы знаете его лучше, чем я; ступайте за ним и помешайте ему выкинуть какую-нибудь скверную штуку.

Чиприани соскочил с лошади и последовал за Флурансом, который был уже далеко.

Я оставался один верхом, когда внезапно разорвавшейся гранатой убило несколько федератов. Тогда весь гнев их обрушился на меня, бывшего в мундире офицера конных стрелков; меня называли изменником, версальцем и говорили о том, что надо бы тут же прикончить меня. К счастью, артиллеристы, бывшие со мной (многие из них, подобно мне, были в полной форме), взяли меня под свою защиту и успокоили разошедшихся федератов. А гранаты продолжали падать непрерывным дождем. Мне сказали:

– Вы верхом: поезжайте посмотреть, где Флуранс.

Я поскакал галопом в направлении, куда он скрылся.

Проехав несколько пустынных полей, я въехал в безлюдные переулки, где увидел всего одну старушку, сидевшую у окна; я спросил ее, не проезжали ли тут два высших офицера национальной гвардии, на что она ответила вопросом:

– Вы ищете Флуранса?

На мой утвердительный ответ она указала мне на запертый наглухо дом. Я постучал в дверь, потом в соседние двери, но ответа не было.

Галопом вернулся я к федератам. На некотором расстоянии заметил я с одной стороны корпус Бержере, возвращавшийся в Париж по склону холма, а с другой, гораздо дальше – авангард версальцев, который двигался вперед с величайшей осторожностью.

Первым вопросом федератов было:

– Где Флуранс? Что нам делать?

Я указал рукой на корпус Бержере и сказал:

– Последуем за ними и соединимся с ними.

Они так и сделали.

Я остался последним, отстав от других примерно на двести метров, и все поглядывал назад, не возвращается ли Флуранс.

Вскоре в полях из-за кустов, из-за заборов, со всех сторон на нас посыпались выстрелы.

Сражение было проиграно, много федератов были убиты или взяты в плен и расстреляны, а Флуранс словно сгинул.

Детали последних минут жизни Флуранса, рассказанные Чиприани, составляют вторую часть этой мрачной одиссеи – Не о жизни Флуранса, – говорит Чиприани, – я буду рассказывать, а о его трагической смерти, настоящем убийстве, совершенном жандармским капитаном Демаре с ледяным спокойствием.

Это было 3 апреля 1871 года Парижская коммуна решила произвести массовую вылазку против войск реакции, продолжавших пачками расстреливать федератов, попадавших в плен. Флуранс получил приказ идти в Шату и ждать там Дюваля и Бержере, которые должны были атаковать версальцев в Шатильоне и соединиться для совместного похода на Версаль, чтобы выгнать оттуда изменников.

Флуранс прибыл в Шату около трех часов дня; там он узнал о поражении Дюваля и Бержере при Шатильоне и у моста Нейи.

Дюваль был взят в плен и расстрелян; этот удар, нанесенный федератам, делал положение Флуранса не только трудным, но прямо невыносимым.

Налево от него федераты бежали, преследуемые версальской армией, которая обходным путем собиралась нас окружить.

Позади нас находился форт Мон-Валерьен, который благодаря доверчивости Люлье попал в руки неприятеля и причинил нам большой вред.

Надо было выбраться из Шату и отступить к Нантеру, если мы не хотели попасть в мышеловку; надо было сформировать вторую боевую линию, которая избавила бы нас от всяких непредвиденных нападений.

Федераты, которые шли весь день, выбились из сил и проголодались.

В таком состоянии завязать в три часа дня сражение с врагом, ободренным успехом при Шатильоне, было невозможно.

Итак, все говорило за необходимость отступления к Нантеру, для того чтобы на следующее утро со свежими силами, которые должны были прибыть из Парижа, занять высоты Бюзенваля и Монтрету, а потом идти на Версаль.

Я, в качестве друга Флуранса и начальника штаба колонны, изложил свой план Флурансу и Бержере, который только что к нам присоединился. Последний одобрил его, Флуранс же мне ответил:

– Я не отступаю!

– Друг мой, – сказал я ему, – это не отступление, и еще меньше это похоже на бегство; это – мера предосторожности, если хотите, которую нам диктуют все изложенные мною обстоятельства.

Он отвечал мне утвердительным кивком головы.

Я попросил Бержере встать во главе колонны, Флуранс принял центр, а я остался в арьергарде, чтобы окончательно эвакуировать Шату.

Все двинулись в путь. Возвратившись под своды железного моста, где я только что беседовал с Бержере и Флурансом, я застал последнего верхом на лошади на том же самом месте, бледного, сумрачного, молчаливого.

Он отказался исполнить мою просьбу и отправиться в путь. Сойдя с лошади, он поручил ее национальным гвардейцам, а сам стал шагать взад и вперед по берегу реки.

Я заметил ему, что в качестве близкого друга, а равно и начальника штаба колонны я не могу и не должен оставить его здесь, на месте, которое сейчас будет занято версальскими войсками, что я твердо решил не бросать его и либо уйти с ним, либо остаться.

Но он так устал, что растянулся на траве и заснул глубоким сном.

Сидя рядом со спящим Флурансом, я мог видеть версальскую кавалерию, гарцевавшую в долине и приближавшуюся к Шату.

Моим долгом было испробовать все для спасения друга и любимого вождя масс.

Я разбудил его и еще раз попросил не оставаться здесь, где его могут взять в плен, как ребенка.

– Ваше место не здесь, – сказал ему я, – а во главе вашей колонны. Если жизнь вам надоела, пусть вас убьют завтра утром в бою, во главе людей, которые шли за вами из любви и симпатии к вам. «Вы не желаете отступить», – сказали вы, но дезертирство хуже простого отступления; оставаясь здесь, вы дезертируете, вы делаете еще худшее: вы предаете революцию, которая столько ждет от вас.

Он поднялся и протянул мне руку.

– Пойдем, – сказал он.

Сказать «пойдем» было легко, но сделать это незаметно для версальцев, которые почти окружили деревню, где мы находились, было почти невозможно.

Необходимо было спрятаться и ждать наступления ночи, а затем догнать наши войска в Нантере.

Дойдя до набережной Шату, мы вошли в какой-то домик, что-то вроде кабачка, стоявший на пустыре, под № 21. Мы спросили хозяйку, не найдется ли у нее свободной комнаты; она повела нас на первый этаж.

Вся обстановка состояла из постели направо от входа, комода по левую руку и столика посередине.

Флуранс, положив на комод свою саблю, револьвер и кепи, бросился на кровать и тотчас же заснул.

Я подошел к окну, опустил штору и стал сторожить.

Через несколько минут я разбудил Флуранса, чтобы спросить его, не могу ли я послать кого-нибудь на разведку, узнать, свободна ли дорога в Нантер.

Он согласился. Я крикнул хозяйку и спросил ее, не знает ли она кого-нибудь, кто возьмет на себя это поручение.

– А мой муж? – сказала она.

– Пришлите его сюда, – попросил я.

Это был, как мне кажется, крестьянин; я попросил его проверить, свободна ли дорога на Нантер, и тотчас же вернуться к нам с ответом, пообещав ему 20 франков за хлопоты. Человека этого звали Лекок.

Он отправился. Я зажег сигару и занял свой пост за шторой.

Через пять минут на правой стороне переулка, выходившего на улицу Нантер, показался какой-то подпоручик верхом и стал внимательно всматриваться в нашу сторону.

Я сообщил об этом Флурансу и снова занял наблюдательный пост у окна.

Офицер исчез. Через несколько минут с той же стороны появился жандарм.

Последний, подойдя к нашему дому походкой человека, знающего, куда он идет, постоял некоторое время, всматриваясь в глубину переулка, по которому, я заметил, за ним следовали человек сорок жандармов. Я подошел к Флурансу и сказал ему:

– Перед домом стоят жандармы.

– Что делать, – сказал он, – не сдаваться же, черт возьми!

– Их не бог весть сколько! – воскликнул я. – Сторожите окно, а я займусь дверью.

Левой рукой я схватил саблю, а правой – револьвер.

В ту же минуту кто-то стал ломиться снаружи.

Открываю дверь и оказываюсь лицом к лицу с жандармом, направившим на меня свой револьвер.

Не дав ему времени выстрелить, я разрядил свой револьвер и попал ему в грудь. Раненый жандарм бросился на лестницу с криком:

– На помощь, к оружию!

Я погнался за ним и в нижней зале наткнулся на входивших жандармов. Я был сбит с ног ударами штыков и ружейных прикладов.

Голова у меня была разбита в двух местах, правая нога проткнута штыком, руки почти переломаны, одно ребро вдавлено, грудь вся избита; кровь текла изо рта, из ушей, из носа; словом, я был полумертв.

Расправившись со мной таким образом, жандармы поднялись наверх и арестовали Флуранса.

Его не узнали. Проходя мимо меня, он увидел меня на полу, в луже крови, и воскликнул:

«О мой бедный Чиприани!»

Меня подняли, и я поплелся за своим другом. У выхода из дома Флуранса задержали, и я остался на пустыре перед домом, один в компании жандармов.

Его обыскали и нашли в кармане письмо или депешу на имя генерала Флуранса.

До этой минуты с ним обращались более или менее прилично, но тут дело приняло другой оборот.

Все начали осыпать его ругательствами и кричать:

– Это Флуранс! Теперь он в наших руках и на этот раз не ускользнет.

В эту самую минуту подъехал жандармский капитан. На его вопрос, кто это, раздался дикий вой:

– Это Флуранс!

Флуранс стоял, гордо выпрямившись и скрестив руки; его непокрытая голова была прекрасна.

Жандармский капитан верхом находился направо от него, возвышаясь над ним на целый корпус; грубым, наглым тоном он спросил его:

– Это вы Флуранс?

– Да.

– Это вы ранили моих жандармов?

– Нет, – только и успел ответить Флуранс.

– Лжец! – заорал негодяй, и, с ловкостью палача ударив Флуранса саблей по голове, он раскроил ее пополам. После этого он умчался галопом.

Убийцу Флуранса звали капитан Демарэ.

Флуранс в ужасных судорогах корчился на земле. Тогда один из жандармов сказал, издеваясь:

– Дайте-ка я выпущу из него мозги.

И, приложив дуло ружья к уху Флуранса, он выстрелил.

Флуранс был недвижим: он умер.

Здесь можно было бы поставить точку, но еще много оскорблений ждало в Версале тело этого великого мыслителя-революционера; если бы я не видел этого собственными глазами, я бы не поверил.

Итак, читателю необходимо последовать за мной в Версаль, в этот подлый проклятый город, чтобы получить представление о том, что произошло вплоть до того момента, когда меня разлучили с трупом Флуранса.

В тот момент, когда мой друг перестал страдать, мои страдания только еще начинались.

Когда убийца Флуранса ускакал, я остался во власти жандармов, которые были вокруг меня, подобно гиенам.

Меня подняли и поставили рядом с трупом Флуранса, очевидно, для расстрела.

Одному из жандармов пришло в голову обратиться ко мне с речью, на которую я ответил со всем негодованием и отвращением; на меня тотчас же посыпался целый град ударов и оскорблений.

Это замедление спасло мне жизнь; подошел какой-то жандармский подпоручик и спросил, кто я такой.

– Это адъютант Флуранса, – ответил жандарм. (Вот когда я узнал свой чин.)

– Досадно, – ответил поручик, – его следовало, конечно, расстрелять, но не здесь, а в Версале.

Это относилось к Флурансу. Обо мне же он сказал:

– Свяжите хорошенько этого мерзавца: завтра его расстреляют в Версале вместе с другими негодьями, которых мы взяли в плен.

По его приказу меня крепко связали, прикатали телегу с навозом, куда и бросили меня, положив ко мне на колени труп моего бедного друга.

Мы отправились в Версаль под конвоем эскадрона конных жандармов.

Известие о прибытии тела Флуранса опередило нас.

В воротах нас встретил полк солдат, которые, не зная о смерти Флуранса, грозили мне ружьями.

Мы двигались впереди пьяной и жестокой черни, которая кричала: «Смерть им, смерть!»

В полицейской префектуре меня отвели в камеру и бросили к моим ногам труп Флуранса.

Элегантно одетые твари, большей частью в обществе офицеров, приходили, смеясь, поглазеть на труп Флуранса, уже не страшного им более; гнусно и подло копались они кончиками зонтиков в мозг убитого.



Ночью меня навсегда отделили от окровавленных останков моего бедного дорогого друга и заперли в подвал.

Так убили и надругались над трупом Гюстава Флуранса версальские разбойники.

Предвидел ли Флуранс будущую резню уже тогда, после первых же зверств, совершенных версальской армией? Может быть, он уже тогда понял, что бойцы Коммуны, доверчивые и благородные энтузиасты, как он сам, заранее обречены на поражение благодаря коварной и подлой политике лжи, которую вело правительство.

Я принимала участие в вылазках 61-го Монмартрского батальона, принадлежавшего к корпусу Эда, и воочию могла удостовериться (не будь я в этом уверена еще раньше), что преданность идее – вот что вдохновляло всю вооруженную борьбу, вот что помогало нам преодолевать страх смерти и убийства.

После взятия Мулино мы вошли в форт Исси, где одному из наших оторвало голову гранатой.

Эд и его штаб расположились в иезуитском монастыре в Исси. Через два-три дня к нам пришли два десятка женщин, в том числе Беатриса Экскофон, Мальвина Пулен, Мариана Фернандец, Гулле, Данге и Картье: они несли красное знамя.

При их приближении собранные на форте федераты приветствовали их.

Откликнувшись на призыв, напечатанный нами в газетах, они пришли перевязывать раненых на поле брани, причем часто подбирали ружья у мертвых и стреляли сами.

Между ними было несколько маркитанток: Мария Смит, Лашез, Викторина Руши, маркитантка отряда «тюрокосов»[119] и др.

Следуя за батальонами изо дня в день, многие из маркитанток были убиты; если перечислять их всех, не хватило бы этой книги.

Я много работала в походных лазаретах форта, но еще чаще выступала с товарищами по маршевым ротам: начав свою службу с ними, мне не хотелось от них отставать, и кажется, я была неплохим солдатом. Заметка в официальной газете Коммуны по поводу дела при Мулино 3 апреля (в номере от 10 апреля 1871 года) была совершенно правильной: «В рядах 61-го батальона сражалась энергичная женщина, убившая многих жандармов и полицейских».

Когда 61-й батальон вернулся на несколько дней в Париж, я ходила в бой с другими ротами и ни за что на свете не хотела покинуть линию фронта. С 3 апреля до майской недели я была в Париже лишь два раза по несколько часов. Моими товарищами по оружию были поочередно: отряд «питомцев Коммуны» в От-Брюйере, артиллеристы Исси и Нейи, разведчики Монмартра.

Здесь я могла убедиться в храбрости бойцов Коммуны, могла убедиться в том, как мои друзья – Эд, Ранвье, Ля-Сесилиа[120], Домбровский[121] – мало дорожили своей жизнью.

## VII. Воспоминания

В первой редакции я писала эту книгу, ничего не рассказывая о себе. По настоянию моих друзей я прибавила к первым главам несколько эпизодов, связанных лично со мной, хотя сделала это неохотно, ибо мне это казалось скучным; впоследствии мое отношение к этим воспоминаниям изменилось; развертывая рассказ, я мало-помалу полюбила вновь переживать это время борьбы за свободу, борьбы, которая поистине заполняла все мое существо, – и теперь я уже не отделяю себя от событий того времени.

Вот почему из глубины моего сознания встает ряд картин, в которых фигурируют тысячи человеческих жизней, ныне навсегда угасших.

Вот мы на Марсовом поле; ружья составлены пирамидами; прекрасная ночь. Около трех часов утра мы выступаем, думая, что дойдем до самого Версаля. Я разговариваю со старым Луи Моро, который, как и все, доволен выступлением; он дал мне вместо старого ружья маленький карабин «ремингтон»; в первый раз у меня хорошее оружие, хотя, говорят, ненадежное, но это не верно. Я рассказываю о том, как я обманула свою мать, чтобы она не беспокоилась, рассказываю о всех мерах предосторожности, предпринятых мною ради нее; в кармане у меня заранее приготовленные для отсылки ей письма с успокоительными известиями; числа на них будут проставлены после. Я пишу ей, что я нужна в лазарете и что я вернусь в Монмартр при первом удобном случае.

Бедная мать: как я ее любила! Как я была ей благодарна за ту полную свободу действий, которую она мне предоставляла; как хотела я уберечь ее от черных дней, которые наступали для нее так часто.

Монмартрские товарищи – здесь; все уверены друг в друге и в командирах.

Вот все умолкло – начался бой. Перед нами горка. Я бегу вперед с криком:

– В Версаль! В Версаль!

Разуа бросает мне свою саблю, чтобы поддержать меня. На вершине горки, под градом снарядов, мы пожимаем друг другу руки. Небо все в огне. Пока никто не ранен.

Стрелковой цепью мы залегает в полях, покрытых пнями: можно подумать, что это дело нам давно знакомо.

Вот и Мулино: жандармы не удержались там, вопреки нашим ожиданиям. Мы думали идти дальше, но нет, ночь мы проведем здесь: кто в самом форте, кто в иезуитском монастыре. Мы, монмартрцы, которым хотелось идти дальше, чуть не плачем от ярости; но все-таки не теряем веры: ни Эд, ни Ранвье, ни другие никогда не остановились бы, если бы на то не

было веских соображений. Нам объясняют их, но мы не слушаем. Наконец, вновь возвращается надежда: на форт Исси привезены пушки; вот будет дело, если мы их удержим. В поход мы выступили с довольно странной артиллерией (остатками от осады): орудия были 12-го калибра, а снаряды – 24-го.

Вот проходят, как тени, те, кто расположился в большой нижней зале монастыря: Эд, братья Мэ[122], братья Кариа, Разуа, три старика – храбрецы и герои: Моро, Шевале и Кариа, федераты с Монмартра; черный как смоль негр с белыми острыми, как у зверя, зубами (он очень добр, очень умен и очень храбр); один бывший папский зуав, перешедший на сторону Коммуны.

Иезуиты покинули монастырь, кроме одного старика, говорившего, что он Коммуны не боится, и спокойно оставшегося в своей келье. Кроме него остался повар. Украшавшие стены картины не стоили ломаного гроша, за исключением одного портрета, который четко говорил о характере оригинала, несколько похожего на Мефистофеля; это был, должно быть, какой-нибудь генерал иезуитского ордена. Там же висело «Поклонение волхвов», причем один из волхвов был похож на нашего черного союзника; затем хронологические таблицы священной истории и тому подобные глупости.

Сам форт великолепен: это какая-то сказочная крепость; сверху русским снарядом отбит кусок стены, и брешь эта очень идет ко всему сооружению. Много времени провожу я здесь с артиллеристами, здесь же посещает нас Викторина Эд[123], одна из старых моих подруг, совсем молоденькая женщина; она тоже недурно стреляет.

Вот и женщины с красным знаменем, пробитым пулями; федераты салютуют ему. Они пришли организовать на форте госпиталь, откуда раненные направляются в более благоустроенные парижские лазареты.

Мы рассеиваемся в разные стороны, чтобы быть полезными каждая в отдельности; я отправляюсь на вокзал Кла-мара, который каждую ночь обстреливается версальской артиллерией. К форту Исси ведет тропинка, которая вьется между изгородями, вся заросшая фиалками; гранаты обращают их в пыль.

Совсем близко оттуда находится каменная мельница; в траншеях Кламара часто чувствуется недостаток в людях. Если бы нас не поддерживал огонь с форта, можно было бы ждать неприятных сюрпризов; впрочем, версальцы никогда не знали, как мало нас было.

Однажды ночью, не знаю каким образом, нас в траншее около станции оказалось только двое: бывший зуав и я с двумя заряженными ружьями; такого караула было как-никак достаточно, чтобы вовремя предупредить товарищей. Прямо невероятное счастье, что в эту ночь станция не подверглась нападению. Бродя взад и вперед по траншее, мы разговаривали при встрече:

– Какое впечатление у вас от нашей жизни?

– Впечатление такое, – ответила я, – будто перед нами берег, которого надо достигнуть.

– А у меня, – сказал он, – у меня впечатление такое, будто я читаю книжку с картинками.

В полной тишине мы продолжали мерить траншею шагами.

Когда утром Лисбонн[124] пришел с подкреплениями, он в одно и то же время был доволен и взбешен; он встряхивал волосами под свистевшими вокруг него пулями, как будто отгонял назойливых мух.

На Кламарском кладбище произошла ночная стычка; могилы вдруг озарялись светом и тотчас же вновь погружались во тьму; только падавший на них лунный свет позволял различать белые-белые, похожие на привидения памятники, позади которых вспыхивали ружейные выстрелы.

Ночью в эту же сторону отправилась разведка с Берсо во главе; они возвращались к нам под версальским огнем среди тысячи опасностей.

Все это теперь мне кажется сном, привидевшимся мне в стране грез, грез о свободе.

Один студент, отнюдь не разделявший наших идей, но еще менее симпатизировавший «идеям» версальцев, пришел в Кламар «пострелять», с целью проверить свои расчеты по теории вероятностей.

У него был с собой томик Бодлера, который мы читали на досуге.

Однажды, когда несколько федератов, один вслед за другим, были убиты гранатой на одном и том же месте (на маленькой площадке в середине траншеи), он захотел окончательно проверить свои вычисления и пригласил меня выпить с ним чашку кофе.

Мы устроились поудобнее, читая «Падаль» Бодлера, и уже почти выпили свой кофе, когда на нас накнулись национальные гвардейцы и силой оттащили нас, крича:

– Довольно! Что вы!

В ту же минуту на площадке разорвалась граната, разбив чашки и разорвав книгу в клочки.

– Это вполне подтверждает мои вычисления, – сказал мне студент, стряхивая с себя засыпавшую его землю.

Он пробыл с нами еще несколько дней, и больше я его не видала.

Одного из немногих трусов встретила я в лице некоего толстяка, который пришел к нам для того, чтобы напугать свою молодую жену, только что вышедшую за него замуж; он был ужасно обрадован, когда получил от меня записку к Эду с просьбой отослать его в Париж. Я злоупотребила его доверием, написав приблизительно следующее:

«Мой дорогой Эд, не можете ли вы отослать в Париж этого глупца, который годится только для того, чтобы наводить панику, если бы, конечно, наши люди ей поддавались. Чтобы он

удрал поскорее, я его уверила, что залпы с нашего форта – это пальба версальских пушек. Будьте так добры, уберите его».

Больше мы его никогда не видали: до того он перепугался.

Если бы при вступлении версальской армии в Париж его застали в форме федерата, он был бы расстрелян вместе с другими защитниками Коммуны.

Другой вояка в таком же роде был один совсем молодой человек. Однажды ночью, когда мы стояли группкой на Кламарском вокзале, и версальская артиллерия прямо неистовствовала, им овладела навязчивая идея сдаться во что бы то ни стало; сколько мы его ни убеждали, он стоял на своем.

– Ну что же, если хотите, сдавайтесь, – сказала я ему. – Я остаюсь здесь и взорву вокзал, если вы его сдадите.

Я уселась со свечой в руке на пороге комнаты, где были навалены снаряды, и провела таким образом всю ночь. Кто-то подошел и пожал мне руку; это был негр – он тоже не спал.

И на этот раз вокзал был удержан. На следующее утро молодой человек ушел и больше не возвращался.

В том же Кламаре с Фернандец и со мною произошло довольно странное приключение. Мы отправились с несколькими федератами к дому одного полевого сторожа, где был назначен сбор добровольцев.

Вокруг нас свистело столько пуль, что Фернандец сказала мне:

– Если я буду убита, позаботьтесь о моих сестренках.

Мы поцеловались и продолжали путь. В сторожке лежало трое или четверо раненых, на матрасах, посланных прямо на полу; хозяина не было дома, а у жены его был совершенно безумный вид.

Мы захотели унести с собой раненых, как вдруг она бросилась к нам и начала умолять меня и Фернандец уйти и оставить у нее раненых, которых, по ее словам, перенести с помощью сопровождавших нас двух или трех федератов было невозможно.

Не понимая, что побуждает эту женщину действовать таким образом, мы, конечно, ни за что не хотели оставить своих в этом подозрительном месте. С большим трудом мы взвалили раненых на привезенные нами с собой больничные носилки, причем женщина все время на коленях умоляла нас оставить их и уйти вдвоем. Наконец, видя, что она ничего не добьется, она замолчала и вышла на порог двери, чтобы убедиться в том, что мы уходим, унося больных под градом снарядов. (Версаль имел обыкновение стрелять в госпитали и в раненых.)

Потом стало известно, что в подвале сторожки были спрятаны солдаты регулярной армии. Боялась ли эта женщина вида смерти двух других женщин или просто-напросто она была в припадке безумия?

В числе раненых мы захватили с собой полумертвого версальского солдатики; его препроводили, как и других, в один из парижских госпиталей, где он стал поправляться. Когда версальцы ворвались в Париж, победители, по всей вероятности, умертвили его вместе с другими ранеными.

Когда Эд перешел во дворец Почетного легиона[125], я отправилась сначала в Мон-Руж к Ля-Сесилиа, а затем в Нейи – к Домбровскому. Эти два, по существу, столь различных человека в действительности производили одно и то же впечатление: тот же быстрый взгляд, та же решительность, то же бесстрашие.

В траншеях От-Брюйера я познакомилась с Пентандром, командиром «Отчаянных».

Ни к кому так не подходило, как к нему и его сотоварищам, это название «отчаянных»: смелость их была так велика, что казалось, будто они застрахованы от смерти; однако Пентандр был убит и с ним немало других.

Вообще, можно быть, пожалуй, храбрым, как федераты, но храбрей их быть нельзя.

Да, такой порыв, казалось, должен был сломить своим революционным натиском все преграды.

Клевета насчет армии Коммуны распространялась по провинции; по словам Футрике, эта армия состояла из бандитов худшего сорта и преступников, бежавших от правосудия.

И тем не менее Полина Менк, Амуру[126] и другие стойкие революционеры подняли восстание в больших городах, и там образовались коммуны, присылавшие в Париж заявления о своем присоединении к нему; но остальная провинция, деревня, питалась только версальскими военными отчетами...

Мы все знали, что такое генералы империи, перешедшие на службу к версальской республике. Как они, так и само Собрание только переменили свое название...

На горизонте подымалось движение в пользу освобождения человечества, а газеты «порядка», подавая сигнал к отвратительной травле Парижа, печатали в Версале следующие гнусные призывы к резне:

Поменьше эрудиции и филантропии, господа, побольше опытности и энергии. Если опытности у вас недостает, то заимствуйте ее хотя бы у жертв.

В настоящий момент мы ставим на карту Францию. Время ли теперь для литературных упражнений? Нет, тысячу раз нет. Мы знаем цену этой лирике.

Поступайте, как поступали в подобных случаях в е л и к и е энергичные народы.

Пленных не брать!

Если в толпе окажется ч е с т н ы й ч е л о в е к, действительно насильно вовлеченный в это дело, вы его узнаете: в такой среде честный человек должен быть окружен о р е о л о м.

Предоставьте нашим храбрым солдатам свободу мести за товарищей: на поле сражения в пылу борьбы они сделают то, чего не пожелают хладнокровно выполнить на следующий день.

Вот на какое дело, мыслимое лишь в пылу и безумии сражения, была употреблена армия, опьяненная ложью, кровью и вином; под улюлюканье Собрания и высшего офицерства Париж был отдан солдатам на растерзание.

## VIII. Армия Коммуны. – Женщины 1871 года

Начиная с 5 апреля южные и западные батареи, установленные немцами для бомбардировки Парижа, стали служить версальцам, которых называли «пруссакми из Версаля». При этом в интересах справедливости необходимо отметить, что никогда грубые немецкие уланы не совершали таких зверских жестокостей, как наши соотечественники. Так, например, версальская армия пользовалась против федератов разрывными пулями. Между прочим, я сама видела одного несчастного, раненного в лоб разрывной пулей в траншеях От-Брюйера. Мы сохранили некоторое количество этих пуль, которые смело могли бы быть выставлены на какой-нибудь выставке в числе снарядов, употребляемых при охоте на слонов; впоследствии, при обысках, они исчезли у меня.

Весь район Елисейских Полей был как бы выметен пулями.

Мон-Валерьен, Медон, Бримборион не переставали осыпать картечью несчастных обитателей этих мест.

То обстоятельство, что редут Мулино и форт Исси беспрестанно переходили из рук в руки, по-видимому, указывало на то, что исход сражения еще далеко не был решен.

Армия Коммуны по сравнению с версальской армией была лишь ничтожной горсточкой. Чтобы продержаться так долго, несмотря на постоянную работу предателей и потерю времени вначале, поистине надо было быть храбрецами, каких мало.

Профессиональных военных в армии Коммуны было немного: Флуранс был убит, Чиприани взят в плен, так что оставались только Кюзере[127], братья Домбровские, Вроблевский[128], Россель, Околович, Ля-Сесилиа, Гектор Франс, несколько унтер-офицеров и солдат, оставшихся с нами, да еще примкнувшие к Коммуне моряки. Среди последних было несколько офицеров: Куанье, пришедший к нам одновременно с Люлье, был гардемарином[129], а Перюссе – капитаном дальнего плавания.

«Зачем платить пруссакам контрибуцию? – говорили эти моряки. – Когда покончим с Версалем, мы возьмем обратно и наши форты на абордаж».

Один из них, Кервизик, сосланный впоследствии вместе с нами на остров Дюко, даже и там твердил об этом всякий раз, когда заговаривали о временах Коммуны, казавшихся нам за океаном так давно отошедшими в прошлое.

В первых числах апреля Домбровский был назначен комендантом города Парижа.

Еще не теряли надежды, исход борьбы еще не выяснился, хотя версальцы уже наступали одновременно на Нейи, Леваллуа, Аньер, Булонский лес, Исси, Ванв, Бисет, Клиши, Пасси, ворота Бино, Терн, на авеню Великой Армии, Елисейские Поля, Триумфальную арку, Сен-Клу, Отейль, Вожирар, ворота Майо.

А Футрике заявлял в это время, что «парижские бандиты», и только они, усиленно палят из орудий, «чтобы сделать вид, будто на них нападают».

«Значит, – писала по этому поводу газета Mot-d'Ordre, – многочисленные раненые, которыми набиты версальские лазареты, только представляются, что они ранены; значит, те версальцы, которых хоронили после боя, только представлялись убитыми? Такова логика кровожадного Тома Пуса[130], который осыпал Париж градом снарядов и объявлял в своих циркулярах и газетах, что Париж бомбардировке не подвергается».

Капитан Бургуен был убит при атаке баррикады на мосту Нейи; это была чувствительная потеря для Коммуны.

Домбровскому приходилось с двумя или тремя тысячами человек (а иной раз и меньше) защищаться от непрерывного натиска более чем 10-тысячной регулярной армии.

Генерал Вольф, который вел войну наподобие современных Вейлеров, приказал окружить дом, в котором находились 200 федератов; последние были схвачены и перебиты.

В парке Нейи пули сыпались градом со знакомым всем шумом деревьев в летнюю грозу. Иллюзия была такова, что в воздухе чувствовалась сырость, хотя мы прекрасно знали, что это картечь.

Баррикаду Пейронне, расположенную близ дома, где находился Домбровский со своим штабом, версальская артиллерия в течение нескольких ночей положительно затопляла артиллерийским огнем. Казалось, земля дрожала и небо извергало целый океан пламени.

Однажды ночью, когда товарищи настояли, чтобы я пошла отдохнуть, я, проходя мимо баррикады, заметила давно покинутую протестантскую церковь с разбитым органом (впрочем, только две или три клавиши не звучали). Я была совсем увлечена игрой, как вдруг передо мной вырос капитан с тремя или четырьмя свирепого вида федератами.

– Как, – сказал он мне, – так это вы привлекаете гранаты на баррикаду? Я шел сюда расстрелять того, кто это делает!



Так закончилась моя попытка музыкального аккомпанеента пляске бомб.

В парке близ некоторых домов валялись брошенные фортепиано; некоторые, несмотря на сырость, были еще в хорошем состоянии. Я никак не могла понять, почему их предпочли вынести во двор, а не оставили дома.

Баррикада в Нейи была вся изрешечена гранатами; вид раненых там был ужасен: встречались люди с оторванными до самой спины руками, так что лопатки торчали наружу, другие – с пробитой грудью, третьи – с оторванными челюстями. Им делали перевязку, не надеясь спасти их. Те, кто еще могли говорить, умирали с возгласом: «Да здравствует Коммуна!»

Таких ужасных ран я никогда еще не видела.

В некоторых пунктах Нейи версальцы подходили так близко к нашим линиям, что с поста Анри Пласа, например, можно было слышать их голоса.

Наши женщины, Фернандец, Данги и Мариани, устроили вместе со мной летучий лазарет близ баррикады Пейронне, напротив дома Главного штаба; легкораненые оставались там, раненные тяжело переводились в другие госпитали, в зависимости от решения врачей; во всяком случае, первая перевязка спасла жизнь не одному человеку.

Как всегда и везде, к трагическому примешивалось здесь немало смешного.

Один крестьянин из Нейи посадил на своих грядках дыни, причем все время сторожил свои бахчи, как будто он мог своим телом защитить их от гранат; пришлось увести его силой, а парники разрушить (тем более что стекла их были уже разбиты), чтобы он не вернулся к своим дыням. Любители посмеяться рассказывали также, как несколько агентов из Версаля были посланы Тьером в Париж, где они должны были встретиться в определенном месте для организации заговора. Они должны были проникнуть в столицу через сточные трубы, но плохо рассчитали, и некоторые из них, застряв, как крысы, в слишком узком выходе из трубы, вынуждены были невольно открыть неприятелю свое местопребывание и просить его вытащить их оттуда; таким образом заговор был раскрыт.

Другие агенты пытались посеять вражду между Центральным комитетом и Коммуной, но показали себя при этом такими низкими льстецами, что выдали себя с головой.

Надо всем этим смеялись и во время перерывов в перестрелке, и под дождем пуль и гранат.

Ворота Майо все еще держались, защищаемые маленькой группкой удивительных артиллеристов; здесь у орудий можно было встретить стариков, юношей, а иной раз и детей.

Утром 9 апреля стоявшему у орудия матросу по имени Фериллок снарядом вырвало живот. История сохранила его имя.

Сохранилось также имя Краона. Другие остались неизвестными. Но разве в именах дело? Коммуна – вот их общее имя, за которое будут отомщены легионы павших!

Как образы сновидения, проходят передо мной батальоны Коммуны: проходят «мстители Флуранса» гордой походкой мятежников; зуавы Коммуны; федераты-разведчики, похожие на испанских гверильясос[131] и всегда готовые на любое героическое дело; рота «отчаянных», которые с такой отвагой перескакивали из траншеи в траншею и шли все вперед и вперед; тюркосы Коммуны; стрелки Монмартра во главе с Жонсулем и много, много других.

Все это были храбрецы с нежным сердцем, которых Версаль называл, однако, бандитами; прах их рассеян по ветру, кости их пожраны негашеной известью, а между тем они-то и были Коммуной, эти призраки майских дней.

В армии Коммуны были также маркитантки, санитарки, женщины-солдаты; их постигла та же участь.

Сохранились имена только некоторых из них: Лашез, маркитантка 66-го батальона; Викторина Руши из отряда тюркосов Коммуны; маркитантка «отчаянных» и сестры милосердия Коммуны: Мариани, Данге, Фернандец, Пулен, Картье.

Женщины – члены наблюдательных комитетов: Пуарье, Экскофон, Блен.

Участницы Кордери[132] и деятельницы народных школ: Ле-мель, Дмитриева[133], Лелу.

Организаторши народного образования до борьбы в самом Париже, где они проявили себя героинями: Лео, Жаклар[134], Перье, Реклю, Саниа[135].

Все они входили в армию Коммуны: их тоже были легионы.

Семнадцатого мая, окружив форт Ванв, версальцы открыли огонь с Банье – между двух баррикад. В ночь на 16-е, в Нейи была жестокая артиллерийская схватка, но от Сент-Уана до Пуен-дю-Жура и от Пуен-дю-Жура до Берси армии Коммуны все еще продолжали держаться.

Держались и ворота Майо; не отступал и Домбровский.

Члены Коммуны – Паскаль Груссе, Ферре, Дерер, Ранвье – часто приходили туда. Они были так храбры, что им невольно прощали их излишнее великодушие.

Армия Коммуны была так малочисленна, что всюду попадались одни и те же лица. Что за беда? Борьба все же шла!

Несмотря на все заботы Коммуны, можно было встретить еще страшную нищету. Кое-где (например, на улице Перголез) дети подбирали снаряды и продавали их за несколько су иностранцам. Одни из них – без роду и племени – пребывали в неведении, что их может приютить Коммуна; другие же это делали ради своих близких. У малышей бывали обожжены руки и брови, хорошо еще, что с ними не случилось чего-либо худшего! Время от времени

они отправлялись развлекаться в театр Гиньоль, который на улице Этуаль держался до конца мая. Потом одна женщина привела их в ратушу.

## IX. Последние дни свободы

Федераты были героями. Но у этих героев были свои слабости, часто гибельные по своим последствиям.

Несмотря на декрет, предоставивший рабочим союзам право воспользоваться покинутыми мастерскими, дома хозяев-дезертиров почему-то не были тронуты; мало того, на некоторых улицах была поставлена даже охрана, совершенно так же, как у банков, так что часть этих трусов, бежавших из Парижа при первой опасности, стала возвращаться из провинции и даже из Версаля. Брань по адресу Коммуны не сходила с их уст, и они охотно оказывали гостеприимство правительственным шпионам. В скором времени эти шпионы наводнили Париж.

Некоторые из них, избравшие своим пристанищем дома терпимости, вынудили комиссаров Коммуны производить в последних обыски. Однако благодаря пособничеству обитательниц этих домов не удалось обнаружить ни одного шпиона; зато полицейские комиссары подвергались самым грязным клеветническим обвинениям.

Несколько постановлений Коммуны было приведено в исполнение. Была, например, низвергнута Вандомская колонна, но осколки ее сохранились, так что впоследствии ее восстановили, для того чтобы бронзовая громада продолжала гипнотизировать молодежь культом войны и деспотизма.

Правда, вырезанные на колонне даты кровавых гекатомб могли бы несколько охладить «роковую привлекательность» памятника.

Эшафот был предан сожжению по приговору общественного мнения в лице комиссии, состоявшей из граждан Капелларо, Давида, Андре, Иджиеса, Доргалья, Фавра, Перье и Коллена[136].

Шестого апреля в 10 часов утра было сожжено гнусное орудие человеконенавистничества. То была совсем новенькая гильотина; теперь ее заменило много других, еще более новых. От частого употребления, какое она получила теперь, машина изнашивается больше, чем когда-либо. Четыре проклятые плиты тоже заняли прежнее место...

Отовсюду в Коммуну притекали выражения симпатий, но все еще только на словах, так что уполномоченный по внешним сношениям Паскаль Груссе имел полное основание взывать в своем манифесте к большим городам Франции:

Большие города! Прошло время деклараций: настало время действовать, теперь слово за орудиями.

Довольно платонических симпатий! У вас есть ружья и снаряды – к оружию же! Восстаньте, города Франции!

Париж смотрит на вас. Париж ждет, чтобы ваше кольцо сомкнулось вокруг подлых насильников, бомбардирующих его, и не дало им возможности избежать заслуженной ими кары.

Париж исполнит свой долг и исполнит его до конца. Но не забывайте и вы его, Лион, Марсель, Лилль, Тулуза, Нант, Бордо и другие.

Если Париж падет за свободу всего мира, история будет иметь право сказать, что он был раздавлен потому, что вы допустили это.

Послание Груссэ не дошло по назначению, ибо лишь циркуляры версальского правительства пересылались в провинцию. Что же касается корреспонденции, отправляемой из провинции в Париж, то ее пересылали в Версаль, где она заполняла «галерею битв» королевского замка.

Несмотря на все мужество провинциальных уполномоченных Парижа, в том числе и неутомимой Полины Менк, парижские депеши похищались из почтамтов и направлялись в Версаль, а отдельные нарочные, посланные с депешами, никогда не возвращались.

## X

Дело обмена Бланки на архиепископа и других заложников Так как несколько биографических заметок о Бланки были уже напечатаны, то я ограничусь здесь только немногими строками.

В первый раз Бланки был приговорен к пожизненному заключению за попытку произвести восстание 12 мая 1839 года; он отбывал наказание в тюрьме Мон-Сен-Мишель с некоторыми из своих боевых товарищей, пока Республика не освободила его 24 февраля 1848 года.

На трусливые обвинения, посыпавшиеся на него вскоре после этого со стороны тех, которые боялись его пронизательности, он ограничился таким ответом:

Кто испил такую глубокую чашу горести, какую испил я? Целый год длилась агония любимой женщины, которая угасала вдали от меня в отчаянии, и целых четыре года провел я потом в одиночестве камеры, где перед моими глазами всегда стоял призрак той, которой больше не было.

В дантовском Аде такое наказание было придумано только для меня одного.

Я вышел оттуда седым, с разбитыми головой и сердцем, и вот меня, печальную развалину, которая влачит по улицам свое израненное сердце под изношенными отрепьями, меня поносят именем «продажного», в то время как лакеи Луи-Филиппа, превратившиеся в блестящих республиканских мотыльков, порхают по коврам ратуши и с высоты своей

добродетели, откормленной жирными кусками, клеймят бедняка, ускользнувшего из тюрьмы их господина.

Вновь осужденному затем Бланки только революция 4 сентября открыла двери тюрьмы Бель-Иль.

После плебисцита 3 ноября он предсказывал неизбежность капитуляции.

«Развязка близка, – писал он, – и вся эта комедия с приготовлениями к обороне становится уже излишней. Перемирие и его условия, затем ужас поражения со всеми его позорными последствиями, – вот что господа из ратуши готовят Франции».

После клятв 31 октября, канонады и новых клятв пришла капитуляция. Она была объявлена 28-го.

Бланки был арестован как принимавший участие в движении 31 октября, причем выпущен был он только после амнистии; он был вновь арестован 17 марта 1871 года на юге Франции по приказанию Тьера.

Его заочно приговорили к смертной казни, несмотря на обещания правительства не подвергать преследованиям за участие в деле 31 октября.

Хотя Бланки был избран в члены Коммуны, судьба его никому не была известна, никто не знал, жив он или умер; боялись, что его уже нет в живых.

У некоторых друзей его была, впрочем, надежда купить ему свободу.

Версальское правительство, казалось, больше всего дорожило жизнью архиепископа Парижского и некоторых других священников. И вот комиссия с участием Флотта, старого товарища Бланки по тюрьме, начала дело об обмене.

Сначала Флотт посетил архиепископа в тюрьме Мазас и с его согласия приступил к приготовлениям. Это была со всех точек зрения счастливая мысль.

Было решено, что в Версаль отправится старший викарий[137] Лагард, который предложит Тьеру обменяться заложниками и вернется с ответом.

С большим тактом дело повел Риго. Риго[138] был прокурором Коммуны, скрывавшим под наружным скептицизмом весьма чувствительное сердце.

Ни ему, ни кому другому не приходило в голову, что Лагард может не вернуться.

«Хотя бы мне грозил расстрел, – говорил Флотту викарий, прощаясь с ним на версальском вокзале, – я все равно вернусь. Неужели вы допустите, что я могу оставить здесь владыку одного?»

Старший викарий вез Тьеру письмо архиепископа, длинное и обстоятельное:

ДАРБУА, АРХИЕПИСКОП ПАРИЖСКИЙ, – ТЬЕРУ, ГЛАВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Тюрьма Мазас

Милостивый государь!

Имею честь передать Вам предложение, полученное мною вчера вечером, и прошу сделать Вас из него выводы, какие подскажут Вам Ваша мудрость и человеколюбие.

Один влиятельный человек, тесно связанный с г-ном Бланки общностью политических взглядов, а главное, узами старой и прочной дружбы, деятельно занимается вопросом об освобождении г-на Бланки; с этой целью он обратился к комиссарам, от которых это зависит, со следующим предложением:

В случае возвращения свободы г-ну Бланки немедленно будут освобождены следующие лица: архиепископ Парижский вместе со своей сестрой, г-н президент Бонжан, г-н Дегерри, настоятель церкви Мадлен, и г-н Лагард, старший викарий Парижа, тот самый, который вам передаст настоящее письмо.

Предложение это было встречено сочувственно, и меня попросили поддержать его перед Вами.

Хотя я лично заинтересован в этом деле, я все-таки осмеливаюсь рекомендовать его Вашему благосклонному вниманию в надежде, что мои мотивы покажутся Вам вполне благовидными.

Слишком многие обстоятельства способствовали обострению вражды между обеими сторонами, и вот представляется случай прийти к некоторому соглашению, к тому же касающемуся не принципов, а только лиц. Не требует ли благоразумие, чтобы мы пошли этому проекту навстречу и таким образом способствовали подготовке будущего умиротворения? Общественное мнение не поймет отказа в подобном случае.

Во время таких тяжелых кризисов, как нынешний, репрессии и расстрелы, разжигая ярость одних против других, только обостряют положение.

Позвольте Вам сказать без околичностей, что это является вопросом гуманности и заслуживает того, чтобы, при настоящем положении Парижа, Вы обратили на это предложение все Ваше внимание.

Осмелюсь ли я, г-н президент, привести Вам и последний мой довод? Тронутое таким рвением, с каким названное лицо действует в пользу г-на Бланки во имя истинной дружбы, мое сердце человека и священника не могло противостоять его настойчивым просьбам, и я взялся просить у Вас о возможно скорейшем освобождении г-на Бланки, что и делаю сейчас.

Я был бы счастлив, г-н президент, если бы то, о чем я хлопочу, не показалось бы Вам немыслимым; я бы оказал этим услугу многим лицам и моей родине.

Дарбуа, архиепископ Парижский Флотт начинал уже беспокоиться, когда получил наконец 16 апреля следующее письмо от Лагарда:

Г-НУ ФЛОТТУ

Версаль, 17 апреля 1871 г.

Милостивый государь!

Я отправил его преосвященству архиепископу на имя начальника тюрьмы Мазас письмо, которое, надеюсь, ему уже передано и, таким образом, дошло по назначению. Теперь пишу непосредственно Вам, как Вы меня о том просили, чтобы поставить Вас в известность о новых затруднениях, возникших в нашем деле.

Я виделся уже четыре раза с лицом, которому адресовано письмо архиепископа, и должен, согласно его приказаниям, ждать еще два дня окончательного ответа.

Каков будет этот ответ? Могу Вам только сказать одно, что я сам не упустил ничего для того, чтобы ответ этот соответствовал нашим и Вашим желаниям.

При последнем свидании я надеялся уже получить этот ответ и возвратиться к Вам с доброй вестью без большого опоздания.

Были, правда, еще кое-какие затруднения, но, в общем, отношение к нашему делу казалось мне вполне благоприятным. К сожалению, письмо, опубликованное в газете «Освобождение» и ставшее известным здесь вскоре после своего выхода и после передачи моего письма, изменило это настроение, и не в нашу пользу. Состоялось совещание, решившее отсрочить решение по нашему делу, так что я получил формальное приглашение отложить мой отъезд еще на два дня: это значит, что еще не все кончено и что мне надо снова начинать свои хлопоты. Увенчаются ли они успехом, не знаю, но Вы не можете сомневаться ни в искренности моих желаний, ни в моем рвении.

Разрешите добавить, что, независимо от того, что дело касается столь важных и столь близко затрагивающих меня интересов и лиц, я был бы счастлив доказать Вам не только на словах ту признательность, которую внушают мне Ваши действия и Ваши чувства. Что бы ни случилось и каков бы ни был результат моего путешествия, у меня останутся, верьте этому, самые лучшие воспоминания о нашем знакомстве.

Соблаговолите при случае напомнить обо мне и передать мой привет Вашему другу, сопровождавшему Вас на вокзал, и примите, милостивый государь, новые уверения в моем уважении и преданности.

Э. Ф. Лагард Этот ответ обеспокоил архиепископа больше, чем Флотт-та. До того честны и наивны были люди 1871 года!

– Он вернется! – говорил Флотт.

Но архиепископ обнаруживал некоторое беспокойство: он лучше знал Тьера и Лагарда.

Несколько дней спустя Флотт попросил его написать новое письмо, которое он собирался сам отвезти в Версаль; но после первого опыта доверие к Тьеру было уже поколеблено, и потому вместо Флотта, который, как друг Бланки, мог быть задержан в Версале, туда отправился другой надежный человек[139].

Вот второе письмо архиепископа:

АРХИЕПИСКОП ПАРИЖСКИЙ – СВОЕМУ СТАРШЕМУ ВИКАРИЮ ЛАГАРДУ

Г-н Флотт, обеспокоенный замедлением в возвращении г-на Лагарда и желая сдержать перед Коммуной данное ей слово, отправляется в Версаль, чтобы поделиться своими соображениями с лицом, ведущим переговоры.

Мне остается только предложить г-ну главному викарию точно осведомить г-на Флотта о положении дела и решить вместе с ним, продолжить ли ему свое пребывание в Версале еще на 20 часов, если это абсолютно необходимо, или немедленно вернуться в Париж, если это будет признано более целесообразным.

Архиепископ Парижский Мазас, 23 апреля 1871 г. Подателю письма Лагард вручил следующий ответ, набросанный наспех карандашом:

Г-н Тьер все еще удерживает меня здесь, и мне остается только ждать его приказаний. Как я уже несколько раз писал владыке, тотчас же по получении каких-либо новостей я немедленно сообщу ему об этом.

Лагард Разумеется, он так и остался в Версале и сделался, таким образом, сообщником Тьера, который хотел помешать Коммуне честным путем предупредить гибель заложников.

Бланки был арестован совсем больным у своего племянника Лакамбра; легко было предположить, что он уже умер. И вот сестра его – г-жа Антуан – обратилась к Тьеру со следующим письмом:

Г-НУ ТЬЕРУ, ГЛАВЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Г-н президент!

Пораженная уже больше двух месяцев болезнью, отнимающей у меня мои последние силы, я надеялась, однако, найти в себе достаточно сил для того, чтобы лично явиться к Вам по моему делу. Однако продолжающееся болезненное состояние принуждает меня в настоящее время от этого отказаться.

Я поручаю моему единственному сыну отправиться в Версаль и передать Вам это письмо; осмеливаюсь надеяться, г-н президент, что Вы благосклонно отнесетесь к моей просьбе.



Каковы бы ни были события, никогда во имя их не отрицались ни права человека, ни права семьи. Вот во имя этих прав я обращаюсь к Вашему чувству справедливости, чтобы узнать о состоянии здоровья моего брата, Луи-Огюста Бланки, который был арестован 17 марта с. г. совсем больным. С тех пор я не имела от него ни одного слова и страдаю от мучительного беспокойства о его здоровье, которое уже давно надломлено.

Если, г-н президент, моя просьба о свидании с братом превышает пределы того, в чем Вы могли бы мне не отказать; если Вы не в силах разрешить мне хотя бы кратковременного свидания с ним, Вы не сможете, конечно, отказать несчастной семье, от лица которой я ходатайствую перед Вами в разрешении моему брату написать Вам несколько слов, которые могли бы нас успокоить; со своей стороны и мы дали бы ему знать, что он не забыт в несчастье своими родными, которые продолжают любить его, как он того заслуживает.

Вдова Антуан, урожденная Бланки Тьер приказал ответить, что здоровье Бланки очень плохо, хотя и не дает оснований для серьезных опасений за его жизнь, но что, несмотря на это обстоятельство и беспокойство госпожи Антуан, он вынужден категорически запретить какие бы то ни было сношения с заключенным, письменные или личные.

Флотт упорствовал в своей идее обмена. Он добился у архиепископа еще одного письма, которое и было отправлено Лагарду, главному викарию архиепископа Парижского.

Г-н Лагард по получении этого письма, в каком бы положении ни находились переговоры, ему порученные, благоволил немедленно выехать в Париж и вернуться в Мазас.

Здесь не могут понять, каким образом десяти дней может быть недостаточно правительству для решения вопроса об обмене. Замедление это нас весьма компрометирует и может иметь самые плачевные последствия.

Архиепископ Парижский Мазас, 23 апреля 1871 г. Лагард не вернулся.

Лично я ни на минуту не сомневалась в том, как поведет себя Тьер при этих обстоятельствах; но мысль о том, что Лагард может не вернуться, не приходила в голову ни мне, ни кому бы то ни было из нас.

В свое время доктор Нелатон оказался много благороднее этого представителя буржуазной республики. Когда один из его студентов помог Бланки в бегстве из больницы, этот доктор сам способствовал удаче побега, дав беглецу денег на дорогу. Впрочем, подобно всякой обреченной касте, буржуазия все более и более вырождается.

## XI. Конец

Казалось, близится победа.

Республиканские Лиги мало-помалу отказывались от своей первоначальной нерешительности. Секции Интернационала, собравшиеся в Кордери-дю-Тампле, проявляли

все большую склонность к решительным действиям.

Шестого мая федерация синдикальных камер[140] присоединилась к Коммуне; эта федерация объединяла тридцать тысяч человек.

Два парижских депутата Национального собрания, Флоке и Локруа, находившиеся в Версале, в энергичных выражениях заявляли о сложении своих полномочий.

Толен, однако, не последовал их примеру.

Теперь облик Парижа становится трагическим: погребальные колесницы с четырьмя красными знаменами по углам проходят по улицам города под звуки «Марсельезы» в сопровождении членов Коммуны и делегаций от батальонов.

По вечерам в церквях загораются огни клубов; там тоже вздымаются мощные звуки «Марсельезы», но им аккомпанирует не заглушенный похоронный бой барабанов, а орган, рокот которого потрясает гулкие своды храма.

В церкви Вожирар помещался клуб якобинцев, и их собрания под землей напоминали о подвале, в котором работал Марат[141]; дыханием 1793 года веяло в этом подземелье. В клубе «Социальной революции», помещавшемся в церкви Св. Михаила в Батиньоле, Комбо в первом заседании произнес речь (как когда-то в трибуналах Бонапарта) на ту тему, что преследования только ускоряют освобождение человечества.

Клубом церкви Св. Николая-на-Полях 1 мая была послана в Коммуну депутация, заявившая, что всякий, кто будет говорить о соглашении между Парижем и Версалем, – изменник.

Какое соглашение могло быть между вековым рабством и стремлением к свободе?

Каждый вечер в десяти или двенадцати церквях Парижа звучали мощные гимны свободе.

Я слышала, с каким восторгом об этом говорили. Особенно громко взывали к свободе женщины. Но я лично, с 3 апреля вплоть до кровавой недели, была в Париже только два раза, и то несколько часов: военная борьба захватывала меня целиком. К ней с особенной силой влекло меня, и я не старалась победить это влечение.

В первый раз мне пришлось отправиться в ратушу с поручением от Ля-Сесилиа, которому я должна была принести и ответ.

Примерно на полпути я встретила трех или четырех национальных гвардейцев, которые, осмотрев меня с ног до головы, подошли ко мне.

– Мы вас арестуем, – сказал один из них.

Очевидно, во мне было что-то подозрительное, по всей вероятности, мои короткие волосы, подобранные под шляпу на мужской манер.

– Куда желаете вы быть отведенной?

Мне слышалось даже, что они сказали: о тв еден – ным.

– В ратушу, раз вы так уже сговорчивы, что ведете арестованных, куда они хотят.

Гвардеец, задавший мне вопрос, покраснел от гнева.

– Ну, это мы еще посмотрим! – сказал он.

Мы отправились в путь, причем они все время внимательно наблюдали за мной, а я сохраняла важный вид, в глубине души забавляясь всем этим происшествием.

Перед решеткой тот, который уже со мной говорил, спросил меня:

– Кстати, как ваше имя?

Я назвала себя.

– Это невозможно, – сказали они все трое, – мы ее никогда не видали, но она, конечно, не станет так обуваться!

Смотрю – на мне сапоги; утром я позабыла сменить их на ботинки, и они выглядывали из-под моего платья.

Пусть так! Все-таки это была я.

Поблагодарив их за их доброе мнение обо мне, я все же сумела убедить их, что оно не совсем правильно. У меня было достаточно документов, чтобы у них не было ни малейшего сомнения на этот счет. А ведь они приняли меня за переодетого женщиной мужчину – из-за сапог, которые производили странное впечатление на городских тротуарах.

В другой раз, – не помню уже, где это было: в ратуше или префектуре, – я встретила выходящих оттуда со слезами на глазах проституток: их не допустили к уходу за ранеными, так как члены Коммуны желали, чтобы перевязывали раненых исключительно чистые руки.

Они поведали мне о своем горе. У кого же, как не у них, было больше прав ухаживать за ранеными: не им ли, несчастным жертвам старого мира, принадлежало почетное право отдать свою жизнь за лучшее будущее!

Я обещала им, что их справедливая просьба будет уважена и что им дадут это право.

Не помню, что я уже говорила в их защиту, но горе этих несчастных поразило меня в самое сердце, так что я нашла слова, дошедшие до других сердец. Женщины были направлены в один из женских комитетов, члены которого были настолько благородны, что приняли их самым радушным образом.

Известие это так обрадовало их, что у них снова выступили слезы, но на этот раз от радости. Словно дети, они тотчас же хотели надеть красные пояса, и я поделила между ними свой, как могла.

– Мы никогда не заставим Коммуну краснеть за нас, – сказали они мне.

Это была правда. Они были убиты во время майской недели; единственная оставшаяся в живых, с которой я увиделась в тюрьме де Шантье, рассказала мне, что двух из них прикончили ружейными прикладами в тот момент, когда они подавали помощь раненым.

В ту минуту, когда мы расставались, – они, чтобы отправиться в свой монмартрский лазарет, я же, чтобы вернуться в Мон-Руж к Ля-Сесилиа, – передо мной очутился неведомо кем брошенный сверток в бумаге: это был красный шарф, присланный мне взамен моего.

Становясь все более и более пронырливыми, агенты Версаля старались сеять все новые и новые разногласия между нами; одно из них возникло в Коммуне по поводу некоего де Монто[142], предателя, проникшего в один из наших штабов; он опубликовал сообщение об убийстве версальскими солдатами сестры милосердия, убийстве, сопровождавшемся надругательством.

Большинство Коммуны, оскорбленное манифестом меньшинства[143], дало последнему понять, что при настоящем положении вещей надо сказать, как говорили некогда:

– Что нам до памяти потомства! Лишь бы Коммуна была спасена!

Заседание было прервано известием о катастрофе – взрыве на патронном заводе на улице Рапп. Было много убитых и раненых, четыре разрушенных дома, и конечно, если бы пожарные с опасностью для жизни своевременно не извлекли из пламени фургоны с патронами, бедствие этим не ограничилось бы.

Первой мыслью всех было – измена; говорили, что это месть за Вандомскую колонну. Четыре человека, в том числе один артиллерист, были арестованы. Комитет общественного спасения объявил, что дело будет расследовано; но эти грозные прокуроры Коммуны не привыкли судить без достаточного количества улик, и дело так и кончилось ничем...

Возможно, что действительно месть за Вандомскую колонну была причиной катастрофы; но какая жестокая месть: гора трупов – за бронзовую колонну.

Несколько дней спустя одна женщина (так и оставшаяся неизвестной) переслала в полицейскую префектуру письмо, найденное ею в вагоне 1-го класса по пути из Версаля в Париж. По ее рассказам, сидевший напротив нее пассажир показался ей очень взволнованным. Проезжая мимо укреплений Парижа и услышав стук ружейных прикладов, этот человек бросил под скамейку пакет с бумагами, в котором она и нашла следующее письмо:

Главный штаб

национальной гвардии

Версаль, 16 мая 1871 г.

Милостивый государь!

Вторая часть сообщенного Вами плана должна быть выполнена 19 сего мая, в три часа утра; примите все необходимые меры предосторожности, чтобы на этот раз все прошло гладко.

Чтобы помочь Вам, мы условились с одним начальником патронного завода, что он будет взорван 17 числа.

Хорошенько перечитайте инструкцию в той части, которая касается Вас как руководителя данного дела.

Следите неусыпно за Ля-Мюетт.

Начальник Главного штаба полковник Ш. Корбон

На Ваш текущий счет в Лондоне сделан второй взнос.

За подписью стояла голубая печать со словами: «Главный штаб национальной гвардии».

События не позволили проверить, не было ли это письмо специально сочинено в Версале, чтобы направить подозрения по ложному следу, – таинственные женщины, которые присылают письма или находят их, никогда не внушали доверия Коммуне, – но несомненно одно: что преступление было делом рук реакции.

Могло ли оно, однако, прикрыть горькую правду знаменитого четверостишия, которое на несколько часов превратило колонну в позорный столб:

Стрелок на этом пьедестале,  
Ты кровь, пролитую тобой,  
Здесь мог бы выпить в час любой,  
Когда бы капли не стекали...

Манифест мэрии XVIII округа содержал точное изложение положения вещей. Да, необходимо было победить, и победить быстро! Победа зависела от быстроты действий...

То, что предсказывал манифест, случилось. Настали времена, худшие, чем июнь или декабрь; причиной тому, кроме роковых случайностей и предательства буржуазии, явилось также недостаточное понимание руководителями армии Коммуны характера борющихся сторон и обстоятельств борьбы.

В момент кризиса все могло пригодиться – и регулярная дисциплинированная армия, как понимал ее Россель, и революционные дружины, как представлял их себе Делеклюз; фанатики свободы во имя победы с радостью подчинились бы железной дисциплине:

необходимы были обе армии – одна из стали, другая из пламени.

Россель не понимал духа революционной армии: он знал лишь регулярные войска.

Гражданские же делегаты по военным делам усвоили только общий энтузиазм борьбы и сами шли впереди, подставляя грудь ударам и прямо держа голову под градом пуль. Конечно, это было прекрасно, но против таких врагов, как версальцы, необходимо было обладать и тем и другим качеством.

Правда, Домбровскому порой удавалось и то, и другое!

В одном из приказов по армии Россель писал следующее:

Воспрещается прерывать огонь во время боя, даже если бы неприятель поднял вверх приклады и выкинул белый флаг парламентарера.

Под страхом смертной казни воспрещается продолжать огонь после отдачи приказа об его прекращении или идти вперед, когда приказано остановиться. Беглецы или отставшие будут изрублены кавалерией, а если их окажется слишком много, будут обстреляны из орудий.

Во время боя командующие могут делать все, что найдут нужным, чтобы заставить офицеров и солдат, находящихся под их начальством, идти вперед и подчиняться приказам.

Если бы подобный приказ был отредактирован несколько иначе, так, чтобы из него явствовало, что все это необходимо для победы, – те, кто были оскорблены его резкостью, беспрекословно приняли бы его к исполнению. Пусть революционеры не бывают беглецами, но так как версальская армия подавляла численностью, то против нее требовалось соединение тактики и пыла.

У Коммуны совершенно не было кавалерии, только несколько офицеров имели верховых лошадей. Лошади служили лишь для перевозки орудий и т. п. А между тем преимущество всегда на стороне атакующего. Россель, привыкший к дисциплине регулярной армии, обвинил Коммуну в слабости, когда та смягчила один из его приказов. Он оставил свой пост, не объяснившись толком, и в припадке гнева потребовал для себя камеры в Мазасе.

Впрочем, с помощью своего друга Шарля Жирардена он бежал из ратуши, решившись на это тем легче, что Коммуна сама, по-видимому, предпочитала такой исход.

Во всяком случае, это была чувствительная потеря для нас. Об этом достаточно ярко говорит тот факт, что версальцы расстреляли Росселя.

Гражданский делегат по военным делам Делеклюз, старик с душой юноши, восклицал в своем манифесте:

Положение трудное, вы это знаете; жестокая война, которую ведут против вас феодальные заговорщики в союзе с обломками павших монархий, стоила нам уже немало благородной

крови, немало горестных потерь, которые я не перестану оплакивать. И все-таки, когда я представляю себе то прекрасное будущее, которое ожидает наших детей, – хотя бы нам самим не суждено было пожалеть то, что мы посеяли, – я не могу не приветствовать с восторгом революцию 18 марта, открывшую перед Францией и Европой такие перспективы, о которых никто из нас три месяца тому назад не смел и мечтать.

Итак, граждане, в ряды! Будьте стойкими перед лицом врага!

Наши бастионы так же крепки, как ваши руки, как ваши сердца. Вместе с тем вы знаете, что сражаетесь за свободу и социальное равенство, так долго ускользавшее от вас. И если теперь вы подставили вашу грудь под пули и гранаты, зато награда, которая ожидает вас, есть освобождение Франции и всего мира, безопасность вашего очага, ваших жен и детей.

И вы победите! Мир, который взирает на вас и рукоплещет вашим благородным усилиям, готовится приветствовать ваше торжество, которое будет торжеством всех народов.

Да здравствует Всемирная Республика!

Да здравствует Коммуна!

Гражданский делегат по военным делам Делеклюз Париж, 10 мая 1871 г. Спешили идти дальше, хотя все еще было впереди.

Освобождение Нурри[144] было решено в первые дни; он так и не вернулся.

Дом Тьера был разрушен и покрыл мусором и крысиными гнездами всю площадь Сен-Жоржа. Вместо этого дома «маленький человек» получил впоследствии целый дворец.

Но не в этих личных вопросах было дело. Теперь мы ближе, чем когда-либо, к новому миру. Но если в период роста растения задерживается раскрытие бутона – прекрасный цветок может погибнуть.

В домах дезертиров и в домах терпимости самого низкого пошиба скрывались переодетые агенты Версаля. Требованием удостоверения личности думали помешать доступу их в Париж. Но один за другим, как капля за каплей, они просачивались в столицу.

Одиннадцатого мая Тьер просил у напуганного и расшатавшегося Собрания еще одной недели срока для окончательной ликвидации восстания.

Заговор трехцветных нарукавников был раскрыт, но другие так и остались неизвестными.

Так как Версаль не мог купить людей неподкупных, он начал проводить своих агентов всюду, где они могли узнать и выдать какой-нибудь пароль или приоткрыть какую-либо дверь.

Кто-то внушил им нелепый план попытаться подкупить полуторамиллионной взяткой Домбровского. Последний тотчас же сообщил об этом Комитету общественного спасения.

Прямо непостижимо, как могли версальцы рассчитывать на него! Домбровский, вождь недавнего польского восстания, выдерживавший почти целый год натиск русской армии, потом участвовавший в войне на Кавказе и доказавший на посту генерала вогезской армии, что он совершенно не способен быть предателем, – Домбровский не мог, конечно, служить реакции!

А версальцы то подвигались вперед, то, казалось, отдавали завоеванную позицию. Отважная мышь высовывала голову и жестоко кусала кошку, которой приходилось отступать.

На 21 мая вечером был назначен концерт в пользу жертв гражданской войны – вдов, сирот и раненных в бою федератов.

Численность и таланты исполнителей делали подобные концерты настоящими триумфами искусства. Агар[145] декламировала на них отрывки из поэмы «Возмездие» Виктора Гюго. Она же пела «Марсельезу» столь мощным голосом, что версальцы называли это р е в о м.

В воскресенье 21 мая длинный ряд объявленных исполнителей обещал целый поток гармонии, и чуть не с утра места были переполнены жаждающими послушать концерт; однако сердца сжимались в предчувствии близкой измены.

Около пяти часов на эстраду поднялся офицер Генерального штаба Коммуны и заявил:

– Граждане! Тьер обещал вступить вчера в Париж. Он не вступил и не вступит. В ближайшее воскресенье, двадцать восьмого, я приглашаю вас сюда на наш концерт в пользу вдов и сирот войны.

Раздались бешеные рукоплескания.

А в это самое время передовые части версальской армии уже вступали в Париж через ворота Сен-Клу...

Предатель – бывший офицер морской службы по имени Дюкатель, тогда еще не имевший определенных занятий, – бродил и высматривал плохо укрепленные места парижской линии обороны, конечно, с целью указать их версальцам; он знал и не сомневался, что найдет такие места, – ведь у нас было так мало людей. И вот он заметил, что ворота Сен-Клу оставлены совсем без защиты. Белым платком подал он сигнал одному из постов армии порядка.

В ту же минуту появился какой-то морской офицер, версальские батареи прекратили огонь, и солдаты небольшими взводами стали проникать в Париж.

В городе сразу же заметили прекращение канонады: ухо так привыкло к ее гулу, что она слышалась, как многим казалось, даже несколько недель после поражения. Наконец заметили, что огонь прекратился. Одним это показалось приятным предзнаменованием, другим же, наоборот, – подозрительным.



Из Мон-Валерьяна Тьер, Мак-Магон и адмирал Потюо рассылали повсюду следующую телеграмму:

21 мая, 7 час. вечера

Ворота Сен-Клу рухнули под огнем наших орудий. Генерал Дуэ устремился туда и входит в настоящую минуту в Париж во главе своих войск.

Корпуса генералов Ладмиро и Кленшана готовятся последовать за ним.

А. Тьер

В ту ночь благодаря предательству 25 тысяч версальцев без боя расположились в Париже.

---

Версия #4

Зверобой создал 29 мая 2025 07:52:59

Зверобой обновил 29 мая 2025 08:00:25